

о.Николай
(Толстиков)

г. Вологда

РАССКАЗЫ СТАРОГО БАТЮШКИ - 4



ПОРЧЕНЫЙ

Прежде Иван Петрович Рыжиков верил в Бога не больше прочих мужиков в округе: на раскат грома крестился, кошка дорогу перешмыгнёт — сторонкой обходил.

Но на всё воля Божия...

Старшая дочь его Аннушка была красавица с длинной русой косой. Коса эта чуть девушку и не погубила. Отец поехал по каким-то делам в Вологду, взяв с собой дочь. От своего Городка до полустанка на железной дороге добирались они на попутной подводе, на поезд припоздали — состав уже тронулся. Запрыгивали на ходу; отец — первым. Из тамбура протянул он дочери руку, но Аннушка не уцепилась, промахнулась, путаясь в своей длиннополой юбке, и соскользнула с приступка вниз. Мало что шлепнулась девка на насыпь, но и ещё поволокло ее вслед за вагоном — длинная коса захлестнулась намертво за ступеньку. Отец — то ли Бог надоумил, то ли сам сообразил — чиркнул остроотточенным ножом-засапожником по натянутой, будто струна, косе...

После того Иван Петрович начал ходить в храм неукоснительно. Слушал наставления настоятеля старенького священника отца Игнатия, помогал общине чем мог, а потом, вместе умученного большевиками, именитого купца стал здесь последним старостой.

Аннушка, пока её влекло и било о камешник насыпи, дала зарок: если жива останется, то уйдёт в монашки — Христовы невесты. Но, поскольку монастыри советская власть позакрывала, насельников и насельниц их то построляли, то посажали, осталась Аннушка в родном городишке, идти было некуда. Носила она теперь вместо прежнего яркого сарафана тёмную, наглухо застёгнутую одежду, из-под краешка надвинутого на самые брови платка смотрели кротко её ясные васильковые глаза. Первые парни в городке сватались к Аннушке, но отказывала она им: видно, слух, что приняла она монашество в миру, верен был. Постриг над ней совершил пришлый игумен.

* * *

Игумен Варнава был ещё не стар, крепок, настоятелю храма, отцу Игнатию-божьему одуванчику, — сослужитель добрый. Прибрел невесту из каких краёв; говорили, что и в тюрьме посидел. Бабки-прихожанки первое время настороженно косились на свежие, ещё толком не зажившие следы шрамов на его лице. Отец Игнатий воспрянул духом: прежде из немощи служил не каждую воскресную литургию. Где возьмешь ещё священников: кого постреляли, кто по лагерям гниёт и мыкается.

Теперь же мелодичные колокола на звоннице храма стали перекликаться веселей и бодрей, а прихожан опять поприбыло и даже из соседних волостей. Игумен службы правил чинно, пел высоким красивым голосом.

Только недолго довелось радоваться старому настоятелю...

Встревоченный Иван Петрович Рыжиков прибежал в сумерках, постучался настойчиво в дверь поповского дома:

— Запрещали же вам на Пасху служить, — заговорил он торопливо, наклоняясь вплотную к уху глуховатого отца Игнатия. — Слышал я от надежного человека: завтра, на Пасху, решили в сельсовете храм закрыть, а вас с игуменом в кутузку посадить. А там в Вологду в тюрьму отправить... У меня зимовье, батюшка, есть. В лесах наших сам лешак заплутает. Схороню, и пересидите, даст Бог, лихие дни!

Отец Игнатий улыбнулся светло:

— Спаси Бог, Иван Петрович, за радение! Только рассуди сам — куда я побегу? Храм не оставишь, да и ноги уже еле носят. А случись что... На все воля Божья! Да и кому до меня, старика, дело?

Он вздохнул и позвал игумена. Тот вышел в сени.

— Это тебе, отче Варнава, впору уйти с Иваном Петровичем!

— Что я, ровно заяц, бегать буду! — возмутился было игумен, но отец Игнатий остановил его.

— Ты, брат Варнава, ещё не стар, послужишь во Господню славу! А из-за тюремных-то стен как паству свою окормлять будешь?

Игумен ушёл той же ночью с Рыжиковым в

лес. Сборы недолги: в котомку положил Евангелие и Следованную Псалтирь службу править, да сухарей на первое время.

«Подсоблю божьему человеку, не дам погнущу! — бормотал себе под нос Иван Петрович, пробираясь впереди монаха ему одному ведомой лесной тропкой. — Господь спас дочь мою, и я в долгу не останусь».

Отца Игнатия арестовали следующей ночью. Ввалились гурьбой: дверь была не заперта. Старец их будто и поджидал: стоя перед иконами и творя молитву, успел ещё раз напоследок перекреститься немощной рукой. Его подхватили под локотки, так и вынесли на волю. Подсадили в тарантас, и — поминай как звали!

Утром и храм разорили. Председатель сельсовета с участковым милиционером долго трясли старуху ключницу, чтобы отдала им ключи от замков храма, но бабка уперлась — ни в какую, ни угрозами, ни посулами не пронять.

— Прихватим чертовку в город с собой, за саботаж ее — в тюрьму! Выворачивайте запоры сами! — скомандовал смуглявый кудряш-уполномоченный из города.

Местное начальство, с опаской и подобострастием заглядывавшее ему в рот, послушно бросилось к дверям храма. Нашлось кому и подсобить, услужливо подсунуть в руки «фомку»: это были приезжие парни-комсомольцы из «союза безбожников» и с ними — местный Колька Лохан.

Когда Иван Петрович подъехал на лошади к церковной ограде — успел-таки, как сердце чувствовало! — из храма уже выволокли на паперть всю утварь, облачения, свалили в штабель иконы.

— Туточки будет у нас Дворец культуры! — слышался голос председателя. — Успокойтесь, бабоньки, Бога нынче отменили. А то вас, вон, как ключницу-то, быстро заарестуют.

Иван Петрович протолкался сквозь толпу женщин возле ворот ограды, кивнув на кучу икон, спросил у незнакомого городского парня:

— А их куда?

— Жечь в костре будем, батя! — развязно осклабился балбес. — Опиум для народа изничтожать!

— А можно я на растопку себе тоже возьму?

— Валяй! — парень рассмеялся, потом при-

осанился. — Сознательный ты! Давай только побыстрей!

Рыжиков отнес на телегу большую храмовую икону, притрусил соломой образ. Больше всего он побаивался, чтобы не узрел этого Колька Лохан. Что взбредет в баламутную башку «комсомолисту», поднимет ещё крик, но миновало, слава Богу: Колькин голос доносился откуда-то с другой стороны храма. Иван Петрович, косясь на городского пролетария — «благодетеля», украдкой обмахнулся крестиком и тронул лошадей...

* * *

Колька Лохан, уже не малолеток-парень, девок, небось, в тёмных сенцах всю тискал, но как стал секретарем комсомольской ячейки в Городке, так вознес нос, бывший батрацкий сынок. Теперь отцу-конюху он управляться с лошадьми не помогал, а обретался больше в избы-читальне: все-таки приходскую школу окончил и грамотешке разумел. А теперь научился и говорить-молоть о царстве небесном на земле, то бишь коммунизме, где нет места Богу. Слушая Колькины байки, взрослые недоверчиво хмыкали, но ребятня внимала раскрывши рот. Со всеми и Васька, младший сын Ивана Петровича.

Это он и показал Кольке Лохану, где отец прятал монаха. Игумена искали, но он как в омут канул. Арестовали Ивана Петровича, в тюрьме на допросах допытывались что да как. Еду игумену в зимовье носила теперь Аннушка, и младший братец следом за ней увязывался.

Лохан отвел Ваську в сторонку от прочей мелюзги, толкущейся возле избы-читальни, с участливым видом сказал:

— Знаю, что батю твоего в тюрьму посадили без вины. Но есть один человек, который может его оттуда выручить.

У Васьки встрепенулось сердчишко:

— Кто?!

— Тот дядя монах, что в лесу живет, друг батю твоего. Он-то как слово замолвит где надо, сразу отца отпустят! Вон, как батюшка раньше в церкви: что не попросит у боженьки — все сбывается! Вот только надо мне с тем дядей прежде перетолковать, и будем вместе твоего батю выручать! Отведешь меня к нему?

Колька спросил наугад, малого на пушку взял: видать, слышал звон, да не знал, где он.

— Ладно! Сходим к дяде игумену! — радостный, согласился Васька...

* * *

Игумен поздно понял, что грядет беда, — когда вместо легкой поступи Аннушки или торопливых шажков младшего Васьки услышал за окошком избушки топот тяжелых мужских сапог, приглушенный гул голосов; даже издали, перешибая лесной дух, наплыло вонючее облако табачища и перегара.

Монах, выскочив из зимовки, метнулся через полянку к спасительной густой стене тёмного урюмого ельника, но скрыться, затеряться в нем не успел.

Заметили, хоть и с похмельных глаз.

— Уйдет!.. Стой, длинногривый!

Лохан первым рванул вдогонку за игуменом, но на опушке бора споткнулся о валежину и проелозил рылом по корням, ободрав его до крови.

— Стреляй! уйдёт гад! — вытирая кровь с рожи, проорал Колька участковому милиционеру.

Тот, тоже молодой парень, выстрелил из нагана скорее из запальчивости, наугад, но игумен в лесной чаще коротко вскрикнул и медленно осел на бок.

— А че, попал?! — Лохан подбежал к нему и в ярости начал охаживать его пинками, покрикивая: — Помог тебе твой боженька, помог?!

Колькины «поддувалы» — парни из его компании — тоже ринулись к игумену.

— Добьете ведь! — вступился участковый.

— Так сопротивлялся нам, поповское отродье!

Окровавленного, с безвольно мотавшейся головой игумена преследователи, чертыхаясь и матерясь, поволокли по тропе мимо спрятавшегося под елкой и онемевшего от страха Васьки. Про паренька и не вспомнили, теперь не нужен. А Васька тут же на мху под елкой забился в корчах, захлебываясь слюной...

Его нашла и привела домой Аннушка. Скукоженный, как старичок, парнишка потом не то что из дома выйти — мало-мальского шума с улицы пугался, норовил забиться в тёмный

уголок за печью. И говорить не мог, отнялась речь. Мычал невнятно, точно глухонемой.

Однажды сестра все-таки выманила брата из дома. И — надо же! — столкнулся он нос к носу с Лоханом! Васька, едва завидев Кольку, забился в припадке.

«Порченной он! — говорили про Ваську старухи соседки. — Нет, хуже! Бог наказал!» — и осуждающе поджимали губы.

Наверное, сам Лохан или кто-то из его друзей похвастал, как находили и вязали игумена — на Ваську с той поры ровно клеймо поставили.

И пришлось Аннушке заботиться об убогом брате. Мало того, что речь к нему не вернулась, он ещё и дальше дичился людей. Чуть окрепнув, парнишка стал работать скотником на колхозном дворе, да так и остался там: видно, среди животных было ему легче, чем среди людей...

ХРИСТОПРОДАВЦЫ

Алексею Рыжикову казалось, что двоюродные братья ему всегда завидовали. Отец их Павел, старший сын Ивана Петровича, вернулся с фронта инвалидом, но, пойдя на поправку, обзавелся большой семьей. Крутил «баранку» колхозной машинешки, на подворье содержал целую «скотобазу». Ребята подрастали у него не дармоедами, а помощниками. Одежку и обувь друг после дружки донашивали; в доме каждый свое дело знал: кому на сенокосе помогать отцу, кому — матери дома стряпать.

Когда по большой амнистии летом пятьдесят третьего года освободился из лагеря Иван Петрович, то, вернувшись домой, он надумал женить Ваську. Младший сын вымахал в здоровенного не по годам мужика, ломил, как лошадь, на колхозном скотном дворе. От его угрюмого страховидного вида, будто от образины, испуганно шаркались не только девки, но и тертые бабенки.

«Порченный» Васька по-прежнему, как в детстве, не мог говорить, только мычал, как глухонемой, бился иногда в припадках, истекая пеной. Городок невелик — ничего не скроешь, все знали: наказание это ему за предательство, пусть и по детской глупости, игумена.

Век бы куковать Ваське бобылем на скотном дворе и быкам хвосты крутить, но высватал Иван Петрович за сына из дальней деревни вдову много его постарше. Нужен мужику, какой уж бы он не был, женский догляд — спокойно рассудили соседи в городке и все-таки были удивлены, когда у пары родился сын. Иван Петрович сам крестил внука: прочел молитвы, трижды окунул в самодельную купель — храм в хрущевскую пору стоял закрытым.

Так бы и рос Алешка, как и все прочие ребята в округе, если бы не взял племянника на воспитание другой сын Ивана Петровича — фронтовик Петр. Он остался в армии: после ранения и госпиталя попал в военное училище и из лейтенантов потом, после войны, дослужился до полковника, военкома большого города на Украине.

Поначалу приглянувшийся Алешка гостил у бездетной четы, а потом и вовсе забрали парнишку в город. Алешка теперь приезжал на родину на каникулы. Чистенький, с городским «акающим» выговором, в опрятном дорогом костюмчике он сторонился своих родителей, пахнущих землей и навозом.

Дальше путь ему был определен в военное училище, а потом ждала и безбедная служба под дядюшкиным крылом. Ну как тут было не позавидовать Алешке его сельским сверстникам?!

Но все хорошее когда-нибудь да кончается... После отставки и кончины дядюшки завершилась у Алексея и безоблачная служба в военкомате. А без прежнего «блата» оказался он в конце концов замполитом в роте охраны аэродрома, где и пришлось дослуживать. Ссылали сюда проштрафившихся офицеров, забудыг или вовсе раздолбаев.

Личная жизнь тоже не задалась: в отставке развелся с третьей женой, пришлось разменять и дядюшкину полковничью квартиру. В одиночестве в тесной комнатухе-казематке скоро наскучило, и подался тогда Алексей на малую родину в Городок, хотя и никто уже не ждал его там. Разве что ставленный ещё дедом дом...

* * *

Прежде, когда он изредка приезжал в Городок и, жаждав неторопливого общения,

проходил по его улочкам, старые знакомцы от него отмахивались, пробегали мимо. Все были при деле. Даже алкаши записные, тюремщики — на теле живого места от наколок нет, — и те, по-скорому «залудив» по стакану и не вступая в разглагольствования, мчались кто куда. Одни — в лес на делянку, другие — на пилораму бревна закатывать. Время — деньги.

Уж если только с самыми последними «опойками» можно было компанию составлять.

Но вот грянул вдруг мировой кризис, и стало теперь Алексею лишь показаться в Городке, как тут же его встретила целая орава мужиков, желающих набиться в собутыльники. Бабенки-то, цепляясь за бюджетные должности, получали какие-то копейки и старались худо-бедно содержать семью. А мужики, когда выпазганный ими на многих гектарах окрест лес и стрелеванный в бесчисленные штабеля стал никому не нужен ни в столице, ни за бугром, растерялись и раскисли, пошли горе свое заливать. А «горловина» эта такая, что скоро портки последние с себя спустишь, а «нутро» все ноет и требует.

Мужики стали к старушкам наведываться: дров напилить и наколоть, забор подправить или крышу дома починить. Мало ли дел в хозяйстве найдется? Главное, чтобы старушонка рассчитаться могла, она же пенсионерка, и у нее денежки есть. Но и бабули скоро ушлые сделались: запрут на все запоры и нос наружу ни за что не высунут. Знают они горе-работничков: вроде что-то делают, а сами зыркают по сторонам — чего бы спереть да и продать потом в соседнем же доме.

За Алексеем открылась настоящая охота: он — военный пенсионер, не то что какая-нибудь тебе старуха. Богач! Раньше ему просто покалякать было не с кем, а теперь дай бы Бог благополучно прошмыгнуть мимо этого желающих и жаждущих!

Но двое, Алька Лохов да Вовик Безруков, пристанут как листья банные. Они тоже в Городке без дела болтаются. Алька, ровесник Алексею, сын известного местного безбожника Кольки Лохана, скончавшегося по пьяни в придорожной канаве: пить старик просил, и никто из земляков не подал, проходя мимо его с опаской. Так вот в самом начале лесного «бу-

ма» Алька влип с возом ворованного леса, схлопотал срок, правда, небольшой. Хотя его вполне хватило для того, чтобы Алька «завязал» воровать по-крупному. Для собственного прокорма он промышлял теперь по мелочевке, под покровом ночи шарился по подворьям и тянул что плохо лежит и не приколочено. Ясным днём он всучивал свою «добычу» где-нибудь на другом краю Городка за бутылку паленой водки и краюху хлеба. После неудачных выходов на «промысел» Алька, как утверждали злые языки, не брезговал и перекусить собачатиной: то там, то тут бесследно пропадали добродушные упитанные псины.

Другой кто давно бы от такой житухи коньки отбросил, а Альке хоть бы что! К нему, приветливому и словоохотливому, ещё и бабенки-алкашки липли. Когда-то у Альки была своя семья, дети, но от мужика-гулевана все сбежали, и обитал теперь Алька один, но временами — и с сожительницами, в полуразвалившемся родительском доме с дырявой крышей.

А над Вовиком Безруковым не зря подсмеивались: маленькая собачка и до старости щенок! Дело — к полтиннику, а он все как пацанчик, шкет шкетом: ростиком — метр с кепкой, косточки щуплого тельца только что не просвечивают на солнышке. Вдобавок у него наивные глаза навывают и дураковатая улыбочка всегда сияет на рожице. К учению или к какому серьезному ремеслу Вовик оказался с малолетства не способен, от юности до пустозрелости перебивался кое-какими работками — бери меньше, кидай ближе. Благо подкармливали его мамаша и отец-инвалид. Девки на Вовика — ноль внимания, остался он старым холостяжкой. Потом ещё и в тюрьгу загремел. Выпивал как-то в компании с такими же, как сам, шаромыжниками, и стакан с «паленкой», видать, не поделили — повздорили. Вовкин оппонент, едва живой с перепоя, сам споткнулся и упал, а Вовик решил закрепить неожиданную свою победу: распластанному на земле верзиле влепил в бок пинок. У верзилы во внутренностях лопнула и пошла кровью застарелая болячка, через несколько часов бедняга отдал концы...

Вовик отсидел свое и, вернувшись домой, отпустил длинную, с проседью, бороду: вроде как закосил под монашка. Но ни в церкви, ни

около нее Вовика никто не видел, терся он больше на автовокзале. Облаченный в затрапезную одежду явно с чужого плеча, нацепив на нос очки с растресканными стеклами, Вовик восседал на лавке у входа и, раскрыв какую-то затрепанную книгу, бубнил невнятно, размеренно-неторопливо крестясь. Кто-то из сердобольных путешественников ссужал его рублишком-другим, и довольный Вовик бежал в соседнюю домушку аптеки за склянкой «брынцаловки», именуемой так местным народом настойки боярышника. Поднабравшись, он заползал в привокзальные кусты подремать. После блаженного сна он опять вылезал в людскую толчею и, если не подавали чужие, начинал приставать с просьбишками к местным прохожим, впрочем, получая тут чаще вместо денежки по уху.

Позднее Вовик повысил «квалификацию»: переместился на микробазарчик в центре Городка убирать после торгашей остатки испортившегося товара. Перепадало ему и полакомиться вкуснятинкой, а то и нажраться от пуза; днем было время и на «брынцаловку» копеек настрелять у тех же торговцев и покупателей.

Вот они, Алька с Вовчиком, и составили Алексею в этот раз компанию. Знали, чем его пронять, как и любого человека, — залебезили перед ним оба, с заискивающими нотками в голосе назвали по имени-отчеству.

Он и повелся: поглядывая свысока, поделился со школьными однокашниками сигаретами, присел на лавочку с ними на минутку покурить, прихвастывая, поотвечал на участливые их вопросы о житье-бытье и не заметил, как разговор свернулся на пол-литра. Слабо, что ли, неумущих угостить, самолюбие себе же потешить?

А там дальше понеслось все кувырком! Друзья-приятели мигом просекли, что в кошельке у Алексея имеется пусть и скромная, но наличность, и теперь не собирались с ним расставаться.

Гулянка плавно переместилась из парка под дырявую крышу Алькиного дома.

Дом наподобие постоянного двора, забега-ловки: одни людишки приходят, пьют-гуляют, валяются и потом кое-как прочь уползают, а на смену им уж другие прутся. Хозяин Алька только рад тому, кто на огонек с дармовой па-

ленкой наведается. В доме — голо, шаром покати: на просторной кухне под тусклой лампочкой возле стола громоздятся грубо сколоченные лавки, в полумраке горницы угадываются очертания кроватей с голыми панцирными сетками с кучами тряпья, наваленного на них. Здесь и днем темно: видать, кто-то буйный высадил в окна стекла и они были наспех залатаны листами фанеры.

Алексей с новыми приятелями «попал в круг»: для него день перемешался с ночью, в пьяном забытии проплывали перед ним какие-то рожи. Выпивох оказалось в Городке не так уж и мало, Алик с Вовиком — только верхушка айсберга. Кого-то Алексей помнил ещё с детских лет, росли вместе, в одну школу бегали, и им он радовался больше. Незнакомцы, выслушивая его болтовню о зигзагах военной карьеры, хмуро и недоверчиво хмыкали; одноклассники же рассказам внимали раскрывши рты, хлопали Алексея по плечу, лезли пить на брудершафт: «Вот он, наш герой!»

Язык у Алексея деревенел, славный воин засыпал, уткнувшись лицом в столешницу, чтобы вскоре опять быть растолканным очередным захожаем. Алексей договорился уж до того, что он — без пяти минут генерал авиации и геройскую «звезду» только из-за происков злопыхателей не получил...

Очередной раз очнулся он — его трясли, умоляли, требовали. Наступил кризис наличности в кошельке — на самую захудалую, воняющую ацетоном бутылку паленки было не наскрести. Алексей пошарился в карманах — тоже пусто.

Кто заикнулся об этом первым? Наверное, Алька.

— Леха! — теперь к Алексею заискивающе по имени-отчеству никто не обращался. — У тебя в доме иконы от стариков остались, без толку висят. Давай «толкнем» пока хотя бы одну! Вон Вовка ее «чуркам» своим на базар сволокет и хорошо загонит!

Вовик головенкой радостно закивал: всегда готов!

В сумерках, пьяно гомоня и поддерживая под локти друг дружку, они поплелись к Алексиному дому. Редкие встречные прохожие брезгливо и испуганно шарахались от разудалой компашки, перебегали на другую сторону

улицы. Кончилась нечастая череда святащих себе под нос уличных фонарей; на окраине Городка — темень ткни глаз, возле родительского дома Алексея гуляки притихли. Проглянула ненадолго ущербная луна в разрыве облаков, и Алексей наконец попал ключом в замочную скважину. Руки тряслись, едва ключ не обронил. Алька с Вовиком притулились на бревнышке под забором, вроде б как «на стреме» остались стоять.

Алексей, не включая свет, прокрался в темноте из сеней в горницу. С улицы в окна проник бледный лунный свет, и в углах пугающе шевелились какие-то тени. «Откуда они и взялись? — У Алексея взхлеб колотилось сердце. — Как вор я...»

Боясь оглянуться, он на цыпочках прокрался к божнице в «красном» углу и, нащупав за занавеской на киоте доску иконы, резко ее сдернул и, прижав к груди, опрометью вылетел из избы.

— Мужики, а может, не надо продавать? — нерешительно пролепетал он на улице.

— Давай, Леха, не скупердяйничай! — Алька ловко выхватил из его рук икону и передал Вовику.

Тот — шкет, где ветром мотает? — а рванул на желтеющие в Городке огоньки фонарей — только его и видели. Следом — Алька. Алексею оставалось покорно ковылять за ними по лужам.

«А что? — пытался оправдаться он. — Они и так бы в дом залезли и украли, стоило бы мне только уехать. Не они — так другие. А тут все же даром не пропадет...»

От последних словечек, провернувшихся в мыслях, Алексея покорило, стало противно и тоскливо на душе...

Впрочем, свежая лошадиная доза пойла угрызения совести скоро заглушила.

Опять в Алькином вертепе пошел-поехал шум, гам, тарарам!

Не только мужички заскакивали на огонек, забредали и бабенки. Алексей уж на что пьян не бывал, но сторонился их, неряшливо одетых, с опухшими лицами, противными визгливыми голосами. Бабенки все равно нагло норовили залезть к нему на колени, тыкались ему в щеки слюнявыми губами и, грубо стряхнутые с коленей, пускали похабные шуточки и сами же, довольные, хихикали над ними.

Надьку, сестру Альки, свою ровесницу, Алексей бы и не узнал, если бы ее брат не окликнул... Ввалились две доходяги-бабенки с одинаково оплывшими, с землистой кожей рожами, одетые в одинакового фасона трунью: драные грязные джинсы, затасканные пиджаки — явно с мужского плеча. Кое-как подстриженные волосы разлохмачены во все стороны, только что сеной трухи в них не хватает. У бабенок — последняя стадия, сразу видно, дальше их ждет гибель под забором или возле баков помойки.

Одна из доходяжек, пытаясь распылить в улыбке по-старушечьи беззубый рот, подседа к Алексею и тут же сгребла со стола его стакан и выхлебала остатки паленки.

— Надька, хорош борзеть! — угрозиво прикрикнул на нее Алька.

Дама резко обернулась к нему, злобно заблестевшие глаза ее сузились в щелки. Ещё бы немного, и она вцепилась бы в хозяина вертепа.

Но Алька вовремя переключил ее внимание на гостя:

— Помнишь его? Это Леха Рыжиков!

— Лешка?! Ты?! — Надька, восторженно взвизгнув, немедленно обслонявила Алексею щеки и пристроилась, елозя тощим задом, на его колени.

Грубо стряхнуть ее, как других, с коленок Алексей не посмел. Надьку ещё в детстве Алешка побаивался. Завидев ее, идущую по улочке навстречу, норовил поскорей свернуть в проулок, а то и сунуться напропалую в какой-нибудь двор. Потому как Надька из пацанок — язва хорошая, язычком подцепит — с ходу в краску вгонит. Все Алешкины изъязны наружу вывернет, в особенности при девчонках. Знает, что в ответ оплеуху Алешка не даст и не нагрубит: нет, не слабак он, а просто девок боится. А Надька и рада-радешенька...

Приехала к соседям юная гостья из большого города, поглянула Алешке; тот не знает, как к ней подступиться. Решился-таки однажды, заговорил с девчонкой, а Надька тут как тут! Идет мимо и, прищуривая глаз, кричит Алешке:

— Эй, чмо болотное, пойдем любовью заниматься!

Где и слова такие услышала, ведь по телеку в ту пору о том молчали!

Приезжая девчонка покосилась на Лёшку, хмыкнула и домой юркнула. Что за кавалер,

коли ответить не может, стоит и пышкается, рот распылив.

Надька вымахала в рослую крепкозадую бабёнку: в редкие приезды Алексея в родной городишко иногда встречалась ему, с ехидцей улыбаясь белозубо. И Алексей, как в подростках, старался прошмыгнуть поскорее мимо...

Алька, неистощимый пустобрех и балагур, ещё вчера пригорюнивался над стаканом паленой водки, вспоминая, что сеструху, сгинувшую в одночасье из-за этой самой заразы, недавно схоронил. А сейчас Надька, вроде бы и живая, сидела на коленках у Алексея. Склонилась к уху и зашептала горячо:

— Уйдем отсюда! Ну их всех, пропадешь с ними ни за грош!

И дряблые свои титешки в Алёхины ладони вжала.

В ночной тишине они брели, обнявшись, по улочке наугад.

— И не вздумай возвращаться к ним! — запальчиво бормотала Надька. — У меня, вон, мужик красавец был, спился с концами! Теперь дочка — прости господи, сынок в тюрьге сидит. И сама я — кто бы пригрел! А все прежде над людьми смеялась-лыбилась!.. И тебя, бывало, задевала. Прости, нравился ты мне, пусть и «тепленький» был...

У Алексея отяжелела голова, ноги подгибались в коленях. Надькин торопливый говорок становился все глуше и глуше, а потом отдалился и вовсе...

Алексей очнулся, когда уже брезжил робкий серенький рассвет. Кто-то настойчиво тормозил его, лежащего на холодной земле, за плечо. Алексей приоткрыл глаза и обмер: над ним склонился священник. Кое-как поднявшись, Алексей испуганно-недоуменно заозирался по сторонам: церковный погост, низкие, заросшие травой холмики в оградках, храм с открытыми вратами.

У священника были добрые, с участливо-тревожным выражением глаза, рыжеватая бородка пушилась с круглых щек. Оглянувшись на Алексея ещё раз, он, осенив себя крестным знаменем, шагнул в проем церковных врат. Алексей, превозмогая в себе страх и озноб, переступил порог следом.

ОДНОПОЛЧАНИИ

Руку настоятелю Алексей целовал подчеркнуто подобострастно, плохо скрывая усмешку: как же, сам — майор, а перед «старлеем» вот так... Да и годами постарше. Отец Андрей, конечно, чувствовал это и, принимая кадило, старался лишний раз руку к губам Алексея не подсовывать. Что поделаешь, сам же предложил бывшему воину в алтаре помогать, когда обрел его лежащим почти без чувств на паперти. Пока приводил его тогда в себя, отпаивая молоком, выяснилось, что в одном авиацентре когда-то служили. Алексей, едва ему полегчало, стал опять словоохотливым и быстро у батюшки выведал что да как: бывших замполитов не бывает. Только разница: отец Андрей служил в истребительном полку пилотом «сушки», а Алексей, стало быть, с солдатами на стоянке охранял его «боевого коня».

Но Алексей обычно скоро забывал о добрых делах и с перепачканным в саже лицом, разжигая в пономарке кадило, уже ловил себя на том, что просто батюшке этому завидует. Вон он как сумел — из летчиков напрямик в попы пристроиться, а Алексей как запутался в жизни, так и распутаться толком не мог. «Наверняка тут не обошлось без блага!» — решал, успокаивая самолюбие, Алексей. Так всегда думалось ему привычнее и все объясняло.

И не ожидал Алексей, что свое мнение ему придется однажды переменить...

* * *

Вальке Лохову пригрозили «пригасить» его «деды». Прибывшее в роту пополнение учили «понимать службу» поодиночке в каптерке. Молодые воины стойко терпели побои, но Валька, хулиганистый и не шибко пугливый на гражданке в Городке, сумел которому-то из «дедов» сунуть в ответ зуботычину. Измолотили его тогда изрядно, больше прочих досталось: «Не жить тебе, салага! Лучше сразу вешайся!»

И Валька не стал дожидаться, что дальше будет, ушёл с поста в первом же карауле. Молодой

командир роты, видимо, поощрял самоуправство «дедов». С ухмылкой поглядывая на фингалы, украшающие лица новобранцев, брякнул что-то о славных традициях роты и с легким сердцем отправил молодежь в караул. Ребята деревенские, тихие, а кто и заерокожится из них, шустро «деды» обломают. Сами же «салаги» потом такими будут: не беспокойся, отец командир, в роте всегда порядок!

Вальку оставили было дневальным; ефрейтор-обидчик зловеще подмигнул ему: «Кабздец тебе ночью, жди!» Но кто-то из ребят заболел, и Лохову в последний момент сунули в руки в оружейной комнате автомат и отправили на плац на построение.

Неподалеку от границы поста проходила железная дорога, поезд на повороте сбрасывал ход, и Валька забрался в товарняк...

* * *

Его, голубчика, уже поджидали дома. Эх, ворвался бы прямо с дороги, обнял бы мать, но пришлось ему красться в ранних осенних сумерках огородами и задворками, боясь всполошить собак. Понимал Валька, что днём открыто по улице не пройдешь, потому отлеживался до поры в потерявшем лист лесочке, зарывшись в ворох опавшей жухлой листвы.

И все-таки не ожидал он, что дома его караулят. Так призывно светились родные окошечки.

— Рядовой Лохов! Стоять на месте! — заорал заполошно кто-то из темноты голосом ротного командира. — Вперед, за ним!

Валька рванул обратно в огороды, за ним с ревом ломанулись преследователи, пытаясь отсечь ему путь отступления к лесу.

Валька, затравленно озираясь, выскочил на околицу городка; парня уже догоняли, едва не дышали в затылок.

— Вон он! Держи! — орал громче всех ефрейтор — Валькин недруг.

Впереди Вальки забелели стены храма; стоя на паперти под тусклым фонарем, старушонка собиралась запереть его ворота. Вальке оставалось затравленным зверьком юркнуть туда, оттолкнув бабку. Он с лязгом захлопнул металлическую створку ворот за собой и, нащупав в сумраке запор, никак не мог с ним управ-

виться. Преследователи нагоняли, мчась со всех ног на заполошные старушечьи вопли. Ещё чуть-чуть и — на самой паперти!

— Стоять на месте! — взвизгнул Валька и сдернул с плеча болтавшийся до этого без толку автомат.

Сухо щелкнул выстрел, и Валькины преследователи отпрянули обратно.

— Пристрелю всех! — продолжал истощенно визжать Валька. — И себя застрелю! И-и!..

— Рядовой Лохов, приказываю вам немедленно сложить оружие! Выйти с поднятыми руками! — неуверенно крикнул командир роты и подтолкнул прижимавшегося рядом с ним к земле ефрейтора — Валькиного обидчика. — Давай иди туда, уговаривай своего подчиненного!

— Не пойду! Шмальнёт только так, придурочный!

— Сами вы придурки, «дембеля» хреновы! Сволочи, подвели... — проскрипел зубами ротный, видимо, сожалея и о недостижимой теперь звездочке на погоны.

— Отца ведут! Может, отец уговорит сдаться? — крикнул кто-то позади них.

Участковый милиционер выудил из какого-то вертепа Альку Лоха. Пьяненький Алька, болтаясь из стороны в сторону, смело побрел к храму, приветливо помахивая рукой:

— Сынок, это я, твой папочка!

— Убью, падла! — затравленно крикнул ему в ответ Валька и щелкнул затвором автомата.

Алька как подкошенный плюхнулся наземь и проворно, на четвереньках, отполз обратно.

— Он может! Весь в меня! — в безопасности заявил он с пьяной горделивостью.

— Мать бы позвать... — предложил кто-то.

— Уехала она неведомо куда! — развел руками участковый. — Вон, гаврик-выпивоха довел! — кивнул он на лыбившегося ехидно Альку. — ОМОН надо вызывать!

— Так они церкву-то вдребезги разнесут, ведь тот Лоханенок-то, небось, отстреливаться станет!

— Не надо ОМОН! — негромко, но твердо сказал настоятель храма отец Андрей.

— Храм, батюшко, жалко?! — тут же нашлось кому подначить.

— Человека жаль! — отец Андрей вышел из-за ствола дерева и, поправив крест на груди, по-

шёл открыто по тропе, ведущей к храму. Уже робко забрезжил осенний серенький рассвет, и священника в черном долгополом подряснике, с поблескивающим крестом на груди, было хорошо видно. Все напряженно и ожидающе уставились ему в спину. В узкую щель между створками ворот храма, почти на уровне паперти, высовывался вороненый короткий ствол автомата: Валька, лежа на полу, затаился, выжидая. Но вот ствол угрожающе качнулся, и отец Андрей, замедлив шаги, поднял руки, показывая Вальке раскрытые ладони:

— Не бойся! Видишь, я — безоружен! Я священник! Поговорим?

Валька в ответ молчал, приглядывался долго, потом проговорил даже с какой-то робкой надеждой в голосе:

— Я помню. Вы меня перед отправкой в армию крестили здесь.

— Вот видишь: храм Божий от беды человека спасает, в нем он защиты ищет. — Отец Андрей потихоньку подошёл к паперти, поднялся по ее низким ступенькам. Взялся за кольцо у створки ворот, осторожно потянул на себя. Валька стоял за дверью, сжимая в руках автомат и не убиравая пальца с пускового крючка.

— Подумай, Валентин, о матери... Ждет ведь тебя. И душу свою надо спасти. А с оружием в Божием храме быть не годится! — и священник, обхватив ладонью цевье автомата, осторожно, но настойчиво высвободил его из Валькиных рук.

Отброшенный «калаш» железно пробрякал по ступенькам паперти снаружи. Парень вдруг всхлипнул и уткнулся лицом в плечо отцу Андрею.

— Ты не бойся, Валентин, Бог тебя не оставит! И я, грешный, тоже...

* * *

Алексей потом еле разыскал отца Андрея: священник, прижимая руку к сердцу, притулился на лавочке в глубине церковного погоста.

— Прихватило вот! — улыбнулся он виновато.

— У тебя, батюшка, наверно, инфаркт! Скорую вызвать надо! — засуетился Алексей. — Такое пережить! Я не знаю, смог ли бы вот так, как ты!

Но отец Андрей остановил его:

— Просто посиди рядом!

Когда Алексей наконец утомился, священник сказал тихо:

— А пошёл я потому, что верю в Бога! Знаю, не оставит... Воевал я в первую чеченскую... Штурмовали раз в паре с ведомым объект в «зеленке» в горах и вместо духов по своим бомбы сбросили. Неточно навели нас: разведгруппа там не успела отойти. Штабные потом стали искать виноватых, только в той неразберихе, которая была, найдешь ли кого?! А я на штурмовку опять вылетел и... вернулся с бомбами обратно на аэродром. Не мог заставить себя их сбросить — вдруг опять по своим. Меня — в штаб, к генералу на проработку. Трус, слюнтяй, пацан — выполняй приказ! Куда укажут — туда и бомби, знай свой долг перед Родиной! Короче, кончилось все рапортом об увольнении, отлетался... На гражданке жить как-то надо, семью кормить. Устроился охранником в офис. А рядом — храм. Потянуло зайти, потом — чаще и чаще стал заходить, на службах стоять, свечи ставить за упокой погибших на той войне. В храме на душе легче становилось. А потом и духовного отца обрел...

Отец Андрей надолго замолчал в раздумье, вспоминать прошлое было тяжело. Но когда начал рассказывать о своем духовном отце, в голосе его затеплились радость и надежда.

Если бы Андрей, ещё тогда просто отставной летчик и охранник, не услышал бы от прихожан, что священник тот — бывший афганец, вряд ли бы сказал ему о происшедшем в Кавказских горах. Прежде пробовал на исповеди признаться иному батюшке, но словно спотыкался о непреодолимую преграду. Накануне тщательно подобранные слова безнадежно застревали где-то в горле: опять получалось, что, не начав ещё говорить, он уже как бы пытался оправдать себя.

И обычно священник, выждав неловкую паузу, отпускал смешавшегося окончательно Андрея: «Поди с Богом! Недозрел ты еще, чадо, до покаяния».

Афганец, рослый здоровяк с седой бородищей, выслушав, не перебивая, рассказ Андрея, вздохнул понимающе:

— Да, вина как бы твоя и не твоя... Но Господь

рассудит! И солдатиков не вернешь. И тех, твоих, и тех, моих...

И, отвечая на недоуменный взгляд Андрея, продолжил:

— Я в Афгане во взводе разведки служил командиром отделения. Однажды в поиске напоролся с ребятами на засаду. Отбивались до последнего. Последним я и остался. Подлетела на выручку вертушка, но поздно — одного меня вытащили живым. Знаешь, когда я валялся на железном полу, простреленный, с перебитыми руками и ногами, дал тогда Богу зарок, что если выживу, то детей заведу столько же, сколько было погибших солдат в отделении. И их именами сыновей назову... И вот с десятков пареньков с той поры народилось у нас с матушкой. От старших уж внуки, а младшие ещё в школу ходят. В церкви меня Господь сподобил служить, теперь и духовных чад у меня сколько! Так что видишь, брат, воскрешается память об убиенных солдатах...

— Запали мне тогда в душу те слова! — вспоминал теперь отец Андрей. — Сам я стал с Божией помощью священником, когда пришло время! И чем больше духовных чад на путь спасения наставляю, тем большее утешение мне за тех, погибших на войне...

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Жанна вспыхивала очередной влюбленностью, как пучок сухой травы, швырнутый в костёр, и испепелялась во мгновение ока, умирая рассыпающимися в прах блеклыми стебельками.

Прежде она каждый год каталась на юга, к тёплому морю, теперь приходилось довольствоваться в лучшем случае Подмосковьем. Но и здесь желтели песочком пляжи, пусть и скромные, возле речек; стояли теплые звездные ночи; и тоже потом мускулистый сластолюбивый весельчак махал с перрона прощально рукой. Последним поцелуем курортного кавалера Жанна, до того момента пылкая, не одаривала — вдруг кто знакомый окажется рядом, только прикладывала пальчики к губам.

Дома, в Городке, спешила с вокзала вроде бы совсем другая женщина — в застегнутом на все пуговицы поношенном брючном костюме, со стянутыми резинкой на затылке в небрежный хвостик волосами, сгорбленная, сосредоточенная, с подпрыгивающей неровной походкой. «Восемнадцать лет» опять оставались где-то там, за горами и долами, а здесь упорно наваливался тридцатник с большим-большим прикидом. И только улыбка далеко не красавицы оставалась располагающей и доброй.

Как же иначе? После окончания пединститута Жанна долго работала в школе старшей пионервожатой, ныне же репортерствовала на местном радио, бегая с диктофоном по городу как угорелая.

Она переживала о том, как ее встретит с поезда муж Василий, хотя встреча ничем не отличалась от предыдущей в прошлом году. Василий терпеливо топтался возле своей потрепанной «копейки» с букетом цветов, срезанных на собственной дачке. Жанна сама выскальзывала к нему из вокзальной сутолоки, бросив наземь сумки и забрав букет, подпрыгивала и целовала в тщательно выбритую щеку. Василий, повертев в пальцах снятые очки с толстыми стеклами, смущенно и беспомощно улыбался.

Ночью в постели, когда Жанна, подвинувшись поближе к мужу и про себя виноватясь, прижимала голову к его плечу, Василий по-прежнему лежал неподвижно, скованный, лишь слабо проводил рукой по ее волосам.

«Соскучилась я...» — шептала Жанна и понимала, сожалея, что хотя бы чуточку страсти не сберегла для мужа, расплескала всю щедро на курорте, а притворяться не хотелось. «Но и устала очень...» — тут же вздыхала, как бы извиняясь.

Муж молчал в ответ.

«Он догадывается!» — пугливо ёкало сердечко у Жанны, и она старательно начинала сопеть носом. Проваливающейся по-настоящему в сон, ей было и обидно — приревновал бы, что ли, муж, сказал бы что-то резкое — всё лучше, чем это ледяное его спокойствие...

Жанна выскочила замуж за Василия в семнадцать лет — не по любви, назло. Парень, первая любовь, дембельнувшись из ВДВ, при встрече грубо и нетерпеливо подмял Жанку под

себя, а потом — ноль внимания; девок покрасивей и погрудастей вилося вокруг него немало. Жанка, страдая, случайно познакомилась на вечеринке у родственников со старым холостяком. Танцевали под музыку, болтали — преимущественно Жанна о всяких пустяках; Василий вызвался проводить ее до дому. Всю дорогу он промолчал, Жанна трещала и смеялась без умолку, но, проходя мимо дома, где жил прежний дроздец, затихла и, проглотив застрявшие в горле слезы обиды, спросила Василия:

— А вы бы взяли меня замуж?

Он по-прежнему молчаливо кивнул...

Бывшего зазнобу-солдатика Жанна повстречала, как говорится, по прошествии лет у мусорного бака. Закопченного, грязного, скрюченного болезнями и напастями бомжа она ни за что бы не узнала, коли б он не окликнул ее по имени и не назвал сам.

«Вернулся вот в родные края...» — тряс он каким-то клочком бумаги.

Заметив, что растерянное выражение на лице Жанны сменилось брезгливой гримаской, старый знакомый торопливо попросил мелочи, якобы на лекарство. Жанна не стала рыться в кошельке, выщипнула наугад из тощей пачечки банкнот — зарплату накануне получила — несколько, сунула, не глядя, в протянутую грязную ладонь и побежала прочь без оглядки.

Больше она той короткой дорогой мимо баков не ходила; вынести мусор из квартиры и то отправляла мужа или сына. После неожиданной-негаданной встречи не чувствовалось ничего похожего на жалость или сострадание. Так, взгрустнулось немного о минувшей юности. Жанне нравились самостоятельные, уверенные в себе, обязательно рослые мужчины. Хотя бы муж дражайший Василий — дорожный инженер. Пусть ровно ледышка в постели, но зато всегда аккуратен, внимателен, грубого слова не услышишь, и вдобавок — высокий блондин, недаром его работяги эстонцем прозвали. И как за каменной стеной за ним.

Да вот плохо: нынешней весной, вскоре после нечаянной встречи Жанны с первой любовью, в этой стене брешь проломилась — для Василия протренировал первый звоночек — инфаркт. Ни на какие курорты Жанна не поехала, все лето, в том числе и законный отпуск, прове-

ла, ухаживая за мужем и колупаясь попутно на дачке, на шести сотках.

К осени Василий оклемался: и так всё страдал — на строительстве дорог самый сезон, а он, как колода, лежит недвижим. Умчался, не дожидаясь разрешения врачей, на работу. Объездную дорогу возле Городка строят, как же без него там обойдутся?!

Жанне тут же другая забота сыскалась...

Бывшие ее пионеры давно выросли, некоторые и в приличные люди выбились; Жанна, случалось, интервью бегала у них брать. Но ближе всех были для нее ребята из первого ее совета пионерской дружины школы, и особенно — Саша и Маша, всегдашние бескорыстные помощники. Правда, став взрослыми и пожившись, они звезд с неба не нахватали, даже мелких звездочек: Маша торговала в продуктовом магазинчике, Саша работал на тракторе в какой-то шарашке. Свадьбу они играли перед самой Сашиной отправкой на службу в армию.

Маша верно ждала молодого мужа, друг дружке посылали они трогательные письма. Маша даже Жанне — по-прежнему не было от нее секретов — некоторые из них показывала. И Жанна, читая чужие бесхитростные строчки, ощущала, как сердечко ее карябает чем-то вроде хорошей зависти.

Вернулся Саша из армии; с Машей своей под ручку в городском саду прогуливается — одно заглядение: всякий раз вздыхала при встрече с ними Жанна. В свое время у пары ребеночек родился; похаживали теперь, опять-таки на паре, молодые супруги по аллеям сада, впереди себя колясочку подталкивая.

Но не ускользнуло от профессионально-пытливого взгляда Жанны: Саша рядом с румяной цветущей женой стал выглядеть болезненным заморышем — кожа да кости, виноватая вымученная улыбка на сером лице. Что случилось — Жанна о том спросить напрямик то ли просто стеснялась или вечно торопилась куда по своим делам, при встречах лишь кивала на ходу.

Однажды услышала она молву и не поверила. Будто бы ребеночка у молодой четы Бог прибрал, с горя и от неведомой своей болезни Саша вовсе зачах, одна тень от парня осталась. Маша же, погоревав, свихнулась, что ли — загуляла по-страшному. То у одного кавалера на неделю

зависнет, то у другого на сеновале кувыркается, кобылка здоровенная. А когда домой вернется, помятая и с бодуна, мужу рта открыть не дает: уйду, мол, насовсем, брошу тебя, чаходирого!

Саша на работу ещё кое-как бродил, и стал он вечерами возвращаться не один, прихватывал с собой кого-нибудь из Машкиных хахалей. Городок-то невелик, вычислить очередного «друга семьи» нетрудно — всяк пальцем укажет. Мужички поначалу упирались, отводя блудливые глаза в сторону и дивясь Сашиному дружелюбию, но скоро разнюхали выгодный для себя оборот в ситуации. Саша, сидя за столом на кухне, после рюмки-другой беспомощно утыкался носом в тарелку с остатками закуски и засыпал. А может, притворялся.

Из проема двери в соседнюю комнату выглядывала из-под занавески Машка и нетерпеливо манила пальчиком к себе гостя. Тот все-таки остерегался спящего хозяина, но потом ничего, входил в раж...

Будто бы целая очередь желающих вскоре образовалась, хотя трепаться-то мужики ещё те мастаки.

Тем более Саша неизменно всегда просыпался, когда уже гость благополучно исчезал из его жилища. Растрепанная, раскрасневшаяся, в кое-как запахнутом халате Машка, зачерпнув из ведра холоденки и жадно хлебнув, выжидающе насмешливо косилась на мужа. Саша, пьяно всхлипнув, сползал со стула на пол и обхватывал руками Машкины колени:

— Машенька, не бросай меня, не уходи! Все для тебя сделаю, на все готов! Люблю тебя!..

Жанне не хотелось верить этим сплетням, добровольными любителями старательно разносимыми по городку, она уж собиралась пойти навестить Сашу с Машей, чтобы разузнать толком что да как.

И удержалась, не смогла. Да и не до того стало...

На литературный праздник, посвященный памяти поэта-земляка, из областной столицы в Городок нагрянула делегация писателей. Среди сыплющих песочком старичков Жанна сразу заметила бородатого, в самом цвету мужичка. Он и песни под гитару пел, и стихи читал, поблескивая в широкой улыбке чередой белых крепких зубов. Жанна, любуясь его поджарой, мускулистой фигурой, тут же неж-

но окрестила его Белозубиком и, разумеется, положила глаз.

В перерыве она шустро подлезла к барду с диктофоном, а когда официальная часть праздника продолжилась застольем на задах клуба, оказалась с Белозубиком рядом. Жанна втихую проговорила пописывать стишки, никому никогда их не показывала, а тут появилась возможность в этом признаться. Бард понимающе кивнул и оценивающе взглянул на свою соседку.

Разгоряченные питьем и пляской под гармошку, гости вывалились из клуба в прохладу августовской ночи. Жанна и Белозубик, взявшись за руки, убрели за околицу и там жадно, взахлеб, целовались, тиская в объятиях друг друга...

Белозубик появился внезапно, все так же неотразимо сияя улыбкой и встряхивая смоляной, с проседью копной кудрявых волос: «Творческая командировка!» Постоял на пороге редакционного кабинета-клетушки, любуясь, довольный, стушевавшейся Жанной. Робкий девчоночий румянец покрасил ее щеки; она, будто пытаясь спрятаться, плотнее вжалась в задрипанное кресло.

*Это дроля мой кудрявый,
В черных кольцах голова.
Он налево и направо
Сыплет золото-слова!*

Скоро Жанна пышкаться перестала, защебетала радостной весенней птичкой. И начала лихо радочно соображать, где бы приискать надежное пристанище себе и кавалеру. У нее было немало приятельниц и просто знакомых, но ведь не каждой доверишься: ещё какие сплетни по городку потом расползутся!

«К Ритке Качаловой! Только к ней! — твердо решила Жанна. — Не проболтается бывшая одноклассница и старая подруга, не должна».

Только получалась закавыка: Ритка жила в соседней пятиэтажке. Но и тут выход обозначился: Ритка до позднего вечера была на работе, а в темноте следом за подружкой нетрудно будет и с кавалером проскочить. Да и Эстонец с сыном ремонтировали домик на даче и вроде бы собирались там ночевать.

И ещё одно преимущество: Ритка заведовала

клубом для слепых. Предприятие, где бедолаг прежде приобщали к общественно-полезному труду, благополучно загибалось, но клубик — деревянный барак — ещё функционировал благодаря своей бойкой заведующей.

Вот и сейчас в крохотном зале за длинным столом заседала компания слегка подвыпивших незрячих старичков и старушек. Под звуки гармошки они увлеченно напевали про «золотые горы». На Жанну и ее спутника никто внимания не обратил, быть узнанной не стоило и опасаться.

— День пожилого человека! Гуляем вот! — крашенная под густой каштан, в водолазке и джинсах, заманчиво обтягивающих ещё стройную подбористую фигуру, вывернулась навстречу из-за стола Ритка.

Испытующе стрельнула глазами в сторону Белозубика и, натолкнувшись на просящий взгляд Жанны, с пониманием дернула уголок подкрашенного рта. Запоздалые, искусственно бодрые слова: «Рита, а мы к тебе в гости собрались!» были уже ни к чему. Все с той же усмешечкой на тонких губах Ритка, знакомясь, крепко сжала, а потом пощекотала внутри Белозубику ладонь.

— Мальчики и девочки! — обращаясь к старичкам, как к детям в детсаде, возвысила она голос. — Заканчиваем! Пьем на посошок!..

Ритка прежде долго сожительствовала с одним милицейским чином из замполитов, соблазнив застарелого холостяка своими незатасканными прелестями. Детей у них не завелось, но, видно, по причине нещадной эксплуатации молодой подругой подполковник закончил карьеру досрочной пенсией и домом инвалидов, куда Ритка спланировала его без особой жалости. А кое-кто утверждал, что бывший замполит, отчаявшись втолковать сожительнице о ведущей и направляющей роли КПСС, сам сбежал от ее назойливых ласк в глухую деревню к престарелой матери.

Ритка одна в немаленькой квартире унывать не стала, пожила-пожила да и пригрела молоденького парнишку. От него и дочку родила. Только доморощенного жиголо ей пришлось выставить за дверь и — с треском: в отличие от первого мужа, который все, что

можно и нельзя, волок в дом, этот гаденыш потащил из дома.

Больше постоянных и долговременных связей Ритка ни с кем не заводила и от осторожных вопросов Жанны на эту тему отшучивалась грубовато: зацепила, мол, для здоровья кого-нито раз в месяцок — и довольно, ни о чем голова не болит...

На улице стемнело. По дороге домой Ритка забрала из садика дочку и повела гостей кратким путем, безлюдными закоулками, не боясь закупаться в грязи, — подмерзло. Жанна с молчаливой благодарностью думала о подруге.

И дома, в квартире, Ритка долго не рассусоливалась, быстренько улеглась спать с дочкой в детской комнате, щедрым жестом предоставив гостям свою спальню с широченной скрипучей кроватью и огромным ящиком старого телевизора.

При голубоватом мерцающем свете экрана Жанна разделась и, зябко вздрагивая и по-девичьи стыдливо прикрывая ладонями маленькие невзрачные свои грудки, потянулась к Белозубику, подставляя губы для поцелуя.

Но тут в кармане джинсов зажужжал, а потом залился резко трелью мобильник. Жанна испуганно отпрянула: «Вот дура, забыла отключить!» Звонил сын. Слушать телефонные трели, стоя в замешательстве с прижатой к груди, смятой в комок одеждой, ей скоро стало невмоготу, да и Ритка, показалось, беспокойно завозилась за стенкой. Жанна ответила.

— Мама, ты где?! Мы с папой с дачи вернулись, замерзли.

— Я задерживаюсь... по делам. Приду, приду!

Жанна почувствовала, как от стыда кровь прихлынула к лицу. Недавний пыл тут же угас; Белозубик это уловил и разочарованно, обиженно отвернулся к стене, кутаясь в одеяло.

— Я вернусь утречком рано. Ты подожди, не обижайся, милый. Поспи тут...

И она привычно торопливо поцеловала его в лысеющую макушку — точь-в-точь как мужа Василия.

Прибежав домой, Жанна принялась печь блины, впопыхах обожглась не раз, но, похоже, мужская половина ничего не заметила и уплетала их за обе щеки.

Вскоре уставшие домочадцы залегли спать; Жанна тоже прикорнула на краю кровати, но сон не шёл долго...

Утром двери открыла Ритка — со взлохмаченной головой и в небрежно запахнутом халатике, накинутом на голое тело.

— А-а, подруга... — она с ехидцей ухмыльнулась. — Хочешь успеть на два фронта? И тут, и там? Вон он, голубчик, лежит и дожидается. Иди, может, и для тебя что-нибудь да осталось!

«Стерва!» — чуть не крикнула ей в лицо, догадавшись обо всем, Жанна и стремглав, едва не потеряв каблук, сбежала по лестничным ступенькам обратно на улицу.

Она помчалась куда-то, не разбирая дороги, натыкаясь на встречаемых прохожих. Впрочем, мало кто из них этому и удивлялся: опять понеслась репортерочка за хорошей или худой вестью — по радио узнаем.

Выбившись наконец из сил, Жанна уединилась на старой скамье в зарослях кустов на речном берегу.

«И он-то как мог?! — подумала про Белозубика зло. — Хотя Ритка — оторва ещё та, любому башку в два счета закрутит, потом проглотит и выплюнет. Да и мужики все, кобели, одинаковые».

Жанна начала мысленно представлять себе одного за другим всех бывших своих курортных красавцев, сбилась, запуталась. И верно: все на одно лицо, даже забыла, как иных и звать. Вспомнила, почти вновь ощутила тепло мужниного плеча, когда под самое утро, положив на него голову, забылась ненадолго после бессонной беспокойной ночи...

Здесь, на речном берегу, было тихо, городской шум отдалился: слышно даже, как при порыве ветра мелодично позвякивает отвязавшимся языком колокол на звоннице церквушки над речной излучиной.

В этом недавно открывшемся храме Жанна буквально на днях брала интервью у настоятеля. Он был молод, скупко отвечая на вопросы, смущенно щипал пальцами реденькую свою бородку и для пущей солидности старался говорить басом, срываясь на тенорок. И, видимо, куда-то спешил.

Жанна поняла причину, увидев вошедшую в храм новобрачную пару; совсем юная невеста

была в немыслимо пышном, в оборках и кружевах, подвенечном платье — вызывающе роскошном для унылых, с обсыпавшейся штукатуркой, кирпично-голых стен пустынного нутра храма. Галдя, вытаскивая на ходу видеокамеры и фотоаппараты, ввалилась толпа родственников и гостей.

— Венчание сейчас будет, понимаете? — замылся батюшка.

— Ничего, я подожду, потом договорим. — Жанна выключила диктофон и осведомилась, кивнув на стоявших перед аналоем новобрачных. — Надолго это?

— Дай Бог, на всю жизнь!..

«Вряд ли! — пытаюсь разглядеть кукольно-безучастное личико юной невесты, усомнилась Жанна. — И разве не дань моде это всё?..»

Она усмехнулась, морщась от слепящих бликов фотовспышек.

Где-то в глубине храма запел хор, гости притихли, и, когда облаченный в белые ризы торжественно-важный священник стал обводить молодую пару с сияющими венцами на головах вокруг аналоя, Жанну укололо что-то вроде зависти. Вроде той, полузабытой — над строчками писем бывших подопечных — Саши и Маши...

— Вы обвенчайтесь с мужем-то! — предложил Жанне, прощаясь, священник, опять в своем черном одеянии ставший похожим на жердь в балахоне.

— Мы уж прожили почти двадцать лет! — ответила с горьким смешком Жанна. — Поздно!

— Это никогда не поздно... Была бы любовь!..

Во всем, что касалось мужа Василия — и в большом, и в мелочах, она привыкла действовать решительно и бесповоротно. Вот и сейчас Жанна резко поднялась со скамьи, где ещё минуту назад вытирала мокрые глаза и втихомолку кляла супостаточку-подругу и всеядного Белозубика. Василий с утра собирался на прием к врачу: после работы на даче опять зашалило сердце. Да и разве усидел бы он там, чтобы хотя бы гвоздь во что-нибудь не заколотить?

Муж уже вернулся домой, поднял с ожиданием близоруко-беспомощные глаза на влетевшую с улицы жену.

— Вася, нам надо обвенчаться! — Жанна, как

обычно, сообщая о безоговорочно ею решенном, не давала мужу опаматоваться. Она успела по дороге домой забежать в храм и договориться обо всем с долговязым батюшкой. — Завтра же идем!

— А мне вот в больницу предложили лечь... Только для профилактики! — поспешно, словно успокаивая капризного ребенка, добавил Василий, заметив, что Жанна начала хмуриться. — Малыш, но я к нужному времени обязательно подойду куда надо...

Жанна, собрав кое-какие вещички, проводила Василия до здания больницы и потом, ночью, долго не могла заснуть. То вспоминалось что-то из совместной с Василием жизни, причем больше — хорошее, а не размолвки по пустякам, то Жанне хотелось забежать мыслями вперед и представить себе завтрашнее венчание в церкви. Она не была верующей, впитанный с младых «пионерских» ногтей атеизм бессознательно обитал в ней и заставлял стыдливо сторониться «всего этого» — церковного, ей непонятного. Но и было в предстоящем венчании пугающе-сладостное, заманчивое: вот так вот, с Василием, с одним-единственным на всю жизнь, что ещё оставалось. Только с ним, самым близким...

Чередой стали проплывать ухмыляющиеся самодовольные мужские физиономии. Жанна, брезгливо морщась, поспешила отогнать неприятное, не к месту, видение, опять вспомнила о том, как задремала успокоенно прошлой ночью на мужнином плече, и с тем ускользнула наконец в сон...

Таинство венчания начиналось буднично, без помпы и торжественности, может, потому, что не толкалась тут толпа зевак. Жанна с Василием, священник, за полотняной загородкой в углу пробававший голоса хор, да приглашенный коллега из телерадиокомпании с видеокамерой в руках — вот и всё. И то он оказался лишним: Жанна, теща свое репортерское тщеславие и желая увековечить событие, раскаялась потом, услышав снисходительно-насмешливый его шепот: «Ты для моды, старушка, все это затеяла или чтоб муженька удержать?!»

Перебарывая досаду, Жанна попыталась вслушаться в малопонятные ей тексты молит-

вословий, которые нараспев произносил священник, уловила и все-таки поняла изречение из «Апостола»: «...Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину». И ещё: «...А жена да боится своего мужа».

Жанна с улыбкой посмотрела на стоявшего рядом с ней Василия, кажущегося, как обычно, совершенно безучастным ко всему происходящему, и заметила вдруг, что пламя высокой, с позументом венчальной свечи, зажатой в руке мужа, лихорадочно колеблется, готовое вот-вот затухнуть. Рука Василия дрожала, да и ещё как! Он в ответ Жанне тоже заулыбался виновато, растерянно — может быть, так в первый раз за всю прожитую совместно жизнь.

До ехидных ли тут ухмылок и колких словечек коллеги-репортера с видеокамерой! Жанна, счастливая, напрочь забыла обо всем на свете, когда рука об руку с Василием, с венцами на головах, под песнопения хора они следом за священником пошли вокруг аналая с книгой святого Евангелия на нем...

Поздний вечер того же дня помнился потом Жанне жутким кошмарным сном. И был горькой явью...

Надо было уговорить Василия идти ночевать в больницу, но разве до этого тогда было, да и сам он вряд ли бы туда отправился!

После выпитого шампанского, поцелуев и ласк, между прочим, давно и основательно подзабытых супругами, Василий в объятиях Жанны вдруг вздрогнул и сник, располосованный болью изнутри.

— Плохо мне... Ты не беспокойся!

Но Жанна, уже вскочив с кровати, металась по комнате: то искала таблетки, то хваталась за трубку телефона, пытаясь дозвониться до скорой. Карета долго не ехала, Василию становилось хуже и хуже.

Жанна в кое-как накинутом на голое тело халате выскочила на лестничную площадку и в истерике принялась звонить к соседям, моля о помощи...

Скорая наконец приехала; молодой детина-фельдшер грубовато сказал Василию в ее тесном салоне:

— Чего разлегся, папаша? Подвинься-ка!

И это последнее, через силу движение Василия — до сих пор мнилось Жанне! — оборвало ниточку ко спасению.

Боль утраты стала понемногу запрятываться куда-то вглубь: Жанна перестала вечерними часами сидеть в одиночестве на кухне и, не отрываясь, смотреть на портрет мужа или же через день приходить к свежему холмику на погосте и, положив к подножию памятника цветы, молча глотать слезы.

Непоседливая репортерская работа по-прежнему увлекала ее, давая возможность на какое-то время забыть.

Но вот забрали сына в армию, и Жанна осталась совсем одна — прежняя утрата стала ещё горше. Не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где никто не ждал. Лицо Жанны осунулось, постарело; она усохла — одна тень, даже знакомые не всегда сразу узнавали. Стала Жанна заходить и в храм тот самый, на берегу, а до недавнего времени даже проходить мимо избегала: не хотелось будоражить воспоминания. И все же пересилила себя, теперь уже с робостью, а не праздного любопытства или ротозейства ради шагнула в его тихий полумрак. Постояла у иконы Богородицы, затеплила свечу, не зная слов молитвы, просто искренне попросила за сына — может быть, служит он где-то в горячей точке, а не напишет, промолчит — весь в отца.

Зажгла свечу и на панихидном столике; поглядывая на поблескивающее металлическое распятие, помянула Василия...

На работу и обратно Жанна по-прежнему ходила по тропинке вдоль речного берега; минув то место, где в прогале между зарослями деревьев и кустов виднелся храм на другом берегу, поозиравшись, торопливо крестилась на него, но вниз, к воде, где все ещё чернел полуразломанный остов старой скамьи, никогда не спускалась.

Однажды, припозднившись, Жанна бежала домой в июньских светлых сумерках и там, возле скамьи, заметила странно копошившихся людей. Впрочем, там все время кто-то терся: то пьянчужки, то мальчишки, то и парочка влюбленная. Ясно было, что компашка тут обретаётся отнюдь не трезвая, через слово —

мать-перемать. Жанна, ёжась от омерзения и страха, прибавила уже шаг, но что-то заставило ее остановиться. Может, показавшийся знакомым женский голос, правда, пьяный и противно визгливый. Она присмотрелась и обомлела.

Двое бомжеватого вида мужиков тормозили молодую женщину; она, пьянувшая вдрызг, развалилась на скамье, мычала только невнятно и слабо отбрыкивалась от них. Потом тяжело, грузно плюхнулась на землю. Мужички ещё постояли над ней недолго, мотаясь из стороны в сторону и не решаясь, видать, к ней склониться, чтоб самим не рухнуть рядышком, и побрели, чертыхаясь, прочь: «Толку-то от нее?!» Жанну они не заметили, поскольку сами едва не ползли на брюхе.

Жанна, переждав их, осторожно спустилась к скамье и несмело попыталась хотя бы пошевелить дебетое располневшее тело бесчувственной Машки. Поднять ее и поставить на ноги не хватало сил. Жанна вскоре выдохлась и опустилась беспомощно на траву рядом с Машкой, положив ее голову себе на колени. Машка бессмысленно тарасила зенки и — кто весть, сколько ещё надо было времени, чтобы она мало-мальски пришла в себя?

Оставалось Жанне оборонять от редких ещё комаров себя и свою бывшую подопечную, про которую в горе своем было совершенно забыто. И такая вот встреча...

Жанна поначалу вздрагивала от каждого шороха в кустах: вдруг те алкаши возвращаются или ещё какая напасть жалует, но потом, прислушиваясь к тихому журчанию речной воды на стремнине, посвисту ночных птах, глядя на белеющий над излуциной реки храм, она поуспокоилась и стала ждать рассвета.

ДРУГАЯ СТРАНА

*Маленькая
повесть*



1. Это жуткое слово «рэкет»

Молодая женщина, которой на ее требовательный звонок открыли дверь, явно тянула на супружницу нового русского среднего пошиба. Длинноногая, в облегающем точеную фигурку ярком импортном спортивном костюме, с тщательно наложенным на лицо макияжем, со стриженным бобриком крашенных волос на голове дама бесцеремонно ткнула пальцем с длинным холёным ногтем прямо в грудь Сане Колыхалову:

— Вы хозяин?

От изумления разинувший рот до ушей Саня было кивнул, но тотчас скосил глаза на выглянувшую из ванной, где поуркивала стиральная машина, жену. И засмутился почему-то ее невзрачного вида — растрепанной головы, грязного, надетого на грузное, потерявшее прежние формы тело халата, босых, с натоптанными до черноты пятками ног.

Впрочем, незваная гостья уже отодвинула Саню в сторонку, как бесполезный предмет, и, впиваясь немигающим взглядом в близорукие растерянные глаза Саниной «половины», напористо заговорила о таком, что супруги Колыхаловы не знали, что им и делать: стоять или падать.

— Ваш сын — рэкетир! С моим мальчиком — Володечкой Мороковским — они учатся в одном классе. Володечка — ранимый, впечатлительный ребенок, тихий, и, представьте, ваш... — Личико дамочки перекошилось то ли от отвращения, то ли от ужаса.

Каким-нибудь ещё паскудным словом она все-таки сынка Колыхаловых больше не обозвала, но будто пришибленным супругам поведала, что их разлюбезное чадо сумело вытрясти из ее отпрыска несколько сотен «зелёненьких». Складывала, мол, денежки в кубышку на подарок дорогому Володечке в день рождения, а пришлось бедняжке заначку мамкину обчистить и всю отдать. Хорошо, хоть вовремя мать спохватилась... Понимает, что Колыхаловы — люди небогатые, и дает поблажку: через неделю должок вернуть, и тогда не дойдёт ни до милиции, ни до судов, ни до ещё чего...

Дама укатила на красной пузатенькой иномарке, а Саня, проводив её из окна унылым

взглядом, навис своей долговязой фигурой над сыном и с выразительным шелкотком запыхлопывал сложенным вдвойки ремнём себе по ноге. Пятиклассник Дениска, обиженно надув пухлые щеки, с опаской втягивал стриженный «шарабан» в плечи, прикрывая ладошками мягкое место.

Всякий раз, когда Колыхалов вынужден был сыпать сынку «горяченьких», раздражало и даже злило его то, что сын — точная копия мамы, разве что за исключением одного; и часто находились дураки подначить, видя вместе отца с сыном: дескать, не тороватого ли соседа шуки произведение? Саня сатанел, а языкастые сомневающиеся острословы торопливо-трусливо открещивались: шуток, что ли, не понимаешь. Успокаивала вера в примету — если сын на мать похож как две капли, значит, счастлив будет.

И опять — много ещё чего бесило, рвало душу... К своим сорока годам Колыхалов ясно и безнадежно понимал, что в жизни ничего путного, к чертям собачьим, не добился. Пялил глаза с телячьим восторгом вслед бегущим высоко в небе облакам, сам барахтаясь беспомощно в луже. В большом и шумном областном центре он теперь часто тосковал по крохотному родному городишке, где в юности трудился «литрабом» в сельхозотделе районной газетёнки. А тогда, наоборот, тянуло в большие далёкие города неудержимо. Но кому там он, Саня-Санёк, нужен? Без него таких полно!

И всё-таки Колыхалов обманул судьбу — в областную «молодёжку» он накатал письмецо-воплъ: в жутком одиночестве, так что, мол, девки, молодой и интересный пропадают!

Девчонки откликнулись, в редакции Сане вручили целую папуху писем. Разбирал почту он основательно: на крашенных изнеженных лярв не бросался, нашёл тихую и скромную, парнями не затасканную, да ещё и с квартирой.

После свадьбы Колыхалов пристроился работать в заводской многотиражке и скоро там скис: в деревне-то от людя почтение немалое бывало — эко дело, корреспондент приехал! Иной трудяга за бутылочкой да на природе, гордясь обществом — газетчик повыше любого начальства будет, — изливал душу до изнанки. А тут, в заводских цехах, народ озабочен, сердит,

не шибко разговорчив, отмахивается от тебя, как от надоедливой мухи, и если уж прорвет кого, то вроде ты, писака, и виноват во всех неустройствах и катавасиях!

Однажды съёженного после очередной пробежки по цехам Саню пожалел заглянувший на минутку в редакцию «сбачить картинки» земляк Алёшка-художник:

— Штаны без толку протираешь! А какие очерки раньше писал! В тебе, брат, писатель загибается. В «подтирашке» этой тебе каюк!

О том, что существует такой земля Алёшка, Колыхалов только здесь и узнал: художник давненько покинул городишко, но, видать, изредка навевывался на «пленэр», особо свое появление в родных пенатах не афишируя. Творческий труд он успешно совмещал со сторожевой службой во вневедомственной охране и, ероша чёрную с проседью бородину, изрекал глубокомысленно:

— Зато не отправят на БАМ!

Он и сманил Саню в «ночные директора»: броди себе, глазей на звёзды в небе, шевели мозгами. Чем не лафа для пишущего человека!

Молодая жена поворчала на грядущее малодежье, но смирилась... Кто знает — может, с гением рядышком спит?..

Сторожить стал Колыхалов гараж турбазы на берегу реки — десяток автобусов на площадке, обнесенной дырявым забором, и несуразно слеplенную из кирпичей коробку мастерской, в уголке которой, отгороженном от прочего стеночкой из изоплиты, коротал ночи, растянувшись на лавке возле пышущей жаром батареи. Охрану несли две дворняжки: если что, то они заливались звонким лаем, — и Саня, продавая кулаками глаза, выбредал на волю.

Время было ещё тихое, как цветущая вода в стоялом омуте: ворье не донимало, шоферня что украсть друг у дружки могла и днём. Оставалось остерегаться проверки милицейского начальства, но спящим на посту Колыхалов застигнут не был, и вскоре выпихнули его, молодого и длинноногого, бригадиришком. Предстояло ему верховодить полусотней стариков и старух, ещё боевых, но и с сыпавшимся всюю из одного места песочком. В ночную пору надо было бодрою рысцою обежать десятка два постов, а где и заменить выбывшего по

болезни, но чаще по пьяни «орла» или «орлицу». Выгнать нарушителя дисциплины бригадир не мог: и «кадры» тогда на дороге не валялись, и в кого из бригады пальцем не ткни — обязательно ветеран какой-нибудь. Передвигается чуть ли не ползком, а все равно на пост добраться норовит — службу нести. «Без работы мне каюк!»

Старики, поругивая затеявшуюся чехарду магазинных цен и правителей, поминали Сталина как бога, грезили, жили своим прошлым. Колыхалов, внимая рассказам, раззяв рот, сам не заметил, как дома только и стал говорить о временах, когда его самого и в проекте ещё не было. Он с восторгом пересказывал стариковские байки, не раз и по одному и тому же месту, что жене надоело:

— Ты же в чужом прошлом живёшь! Нас для тебя как и нет! — вспылила она.

Накануне еле собрали сына Дениску в школу на новый учебный год: у жены на работе задержали зарплату, а на Санины бригадирские много не разбежишься. Супружница, видать, окончательно отчаялась сидеть на одной картошке и дожидаться от Колыхалова гениальных строк и бешеных за них гонораров, язвила без пощады:

— Ты, как улитка, в раковину хочешь упрятаться, и при том — в чужую! Только без рогов! Пока...

Кто знает, Саня бы, может, и унырнул, да не получалось!..

Всякие конторы, базы, склады теперь именовались по-новомодному — фирмами и офисами, благообразных старичков хозяева скоро оттуда поёрли, заменив их крепкими мускулистыми парнями и мужиками в камуфляже. От услуг вневедомственной охраны отказывались так стремительно, что Колыхалов, генерал без войска, сам под сокращение угодил.

— Ничего! — встряхнулся он. — Я ещё в газете могу!

Там только его, голубчика, и ждали. Поскольку многотиражки давным-давно издали пшик, Саня сразу направился в редакцию областной газеты. Хлыщеватый парнишечка, облачённый в отутюженный костюм, небрежно пролистнув трудовую книжку, взглянул на просителя, снисходительно ухмыляясь:

— Господин Колыхалов, вы жили и в газетчи-

ках состояли в одной стране, а теперь страна уже другая. Тут не только перестраиваться — перерождаться нужно! И это вам не о доярках и механизаторах писать...

Отфутболенный Саня уныло побрел по улице и на перекрестке едва не угодил под колеса навороченного джипа. И что обидно: хоть бы просигналили, кулаком погрозили через стекло или б выскочил кто, раззяв мотом, а то и оплеуху бы отвесил! Нет, прокатили, не сбавляя скорости, как мимо пустого места, — ладно хоть не прямоком по нему. Но всё равно — и под колеса не попал, а как раздавили!..

Колыхалов, словно ослепнув, шел, натыкаясь на встречных прохожих, и очнулся только когда кто-то, с кем он столкнулся и вовсе лоб в лоб, воскликнул радостно и недоуменно:

— Сколько лет, сколько зим!.. Ты не пьян ли с утра?

Алёшка-художник!

Не признался бы сам, так и не узнать бы его. Всё бегал в затрапезном куцем пиджачишке, а тут — при фирменном прикиде, вдобавок — башка обрита: волосёнки чуть заметным ёжиком топорщатся вместо пышных кудрей до плеч. Борода лишь прежняя — помелом осталась.

Узнав про колыхаловскую нужду-печаль, Алёшка тут же выдал неожиданное предложение:

— А иди-ка опять сторожишком пока. Место подскажу. При церкви. Я и сам там фрески под куполами подмалёвываю. Не то чтоб халтура, нет, — картинки мои теперь за бугор свободно идут, — и не трясись, что как тунейдца на БАМ отправят. Для души стараюсь...

Саня сначала оторопел, потом возмутился было, но... покорно поплелся за художником следом, попутно косясь на толпу перед зданием биржи труда. Он побаивался разговаривать с настоящим живым попом, не ведал, с какого боку подойти, но это не понадобилось.

Из домика возле храма выглянул пожилой мужичок — староста, спросил у Алёшки про Колыхалова: «Человек надёжный?» После утвердительного кивка одним безработным стало меньше.

Служебные обязанности Сани были всё те же: после того как бабуля-смотрительница закрывает храм на замок, ходи себе с колотухой под

стенами и поглядывая, чтоб какой-нибудь злоумышленник-безбожник через металлическую сетку, натянутую на столбах вместо ограды, не сиганул, да поёживайся, памятуя, что под ногами древний погост.

Ранним утром вслед за той же смотрительницей Колыхалов заходил в храм и робко топтался в притворе, с любопытством разглядывая всё и чувствуя себя как в музее на экскурсии.

Лоб не умел тогда толком перекрестить, а минуло времечко — и теперь сам удивлялся: что бы без церкви и делал... Саня готовился к посвящению во диаконы, и накануне — надо же — так родной сынок подкузьмил.

2. Лишний рот

Памятнику кто-то в последние времена подсоблял разваливаться. Исподтишка, но настойчиво. Расседались всё глубже трещины на постаменте, швы между составными частями скульптуры тоже расходились, будто злоумышленники расковыривали их монтажкой.

Памятник стоял в глубине разросшегося одичавшего сада, берёзки и тополя, ели и сосны заслоняли его от людских глаз. Только раз в году, весной, когда на ветвях деревьев лопались первые почки, народ сходил сюда на митинг, возлагал к подножию простенькие венки с бумажными цветами. И до следующего мая в сад забегала лишь вездесущая пацанва да забредали озирающиеся выпивохи, хоронились в высокой траве и там же после возлияния блаженствовали.

Однажды в дальнем углу сада забурчал, копая котлован, экскаватор, потом, заливая фундамент под дом, завозилась бригада приезжих рабочих. Стены из кирпича класть начали.

Люд в городишке, в последние времена пришибленный безденежьем, безнадёгой, враньём из телевизора и палёной водкой, мало чем интересовался, разве что кто ещё смог позавидовать дельцам-торгашам, да и тот, вздохнув удручённо, махнул рукой, когда узналось, что это Мороковские родовое гнездо затеяли строить. Кто такие — известно: один брат лесом приторговывает, весь бизнес в городке «крышует»; остальные братаны пусть и не дома, но в чужих краях тоже заплаты на послед-

ние портки не подшивают. Но круче всех папаша — у самого губернатора в советниках по сельскому хозяйству ходит!

Только Василий Васильевич Колыхалов, или попросту — Васильич, бывший главбух, а ныне просто пенсионер, проковыляв на больных ногах мимо будущего «гнездышка» и в тени под деревцем переводя дух, не возгорал завистью, его иное тревожило. Подмечал он: чем выше подрастали стены особняка, тем ещё больше разваливалась скульптура, накрепкивалась набок, готовая вот-вот рухнуть. Прежде Васильич всегда неторопливо обходил памятник вокруг, внимательно к нему приглядываясь, но вот сад внезапно обнесли оградой из железных прутьев, и в неширокий прогал в ней стало неловко заходить — всё равно что в чужое имение вторгаться.

Васильич и в этот раз постоял тут, не решаясь войти, вздохнул и поковылял прочь.

Из кузова автолавки на крохотном базарчике-пяточке в центре городка торговали куриными яйцами. Яички фабричные, невзрачные, почти вороньи, но зато дешёвые — и очередь за ними змеилась будь здоров! Под настороженными и даже враждебными взглядами Васильич несмело стал пробираться в начало очереди, где топтались ветераны войны.

— Василь Васильич, подруливай к нам, «недобиткам»! Не ссы, прорвёмся! — приветствовал Колыхалова старичок навеселе.

Когда-то он в «шараге», где Васильич работал главбухом, плотничал, ничем особо не выделялся, и мало кто знал, что в войну дошёл до Берлина.

Колыхалова ветераны считали своим — инвалид и по годам им ровесник, но только вот не был Васильич на фронте. Обо всем этом вспоминать он не любил, разве что сыну иногда за редкой стопкой водки рассказывал...

— ...Печальник твой! — показывая матери родившегося сына, вздохнула бабка-повитуха и как в воду глядела.

Стоило только ему, уже подростком будучи, оторваться от родительского дома — и пошло-поехало...

Ваську вместе с оравой таких же деревенских, сопливых ещё парнишек выгрузили из теплуш-

ки на путях сожжённой дотла станции; озирающихся испуганно, жмущихся друг к дружке ребят местные тотчас окрестили «телятами». После ровной — глазом не за что зацепиться — степи перед пацанами громоздились обугленные развалины большого города на берегу Волги. Ребят разместили на житьё в уцелевшем доме; им предстояло ломami и кирками расчищать территорию бывшего тракторного завода.

Пока стояла тёплая долгая осень, было ещё сносно, но, когда резко накатило предзимье с пронизывающими до костей суровыми ветрами, не смогил спасти ребят истрёпанная одежда и разбитая обувь, — стало совсем худо. Васькиным отрядом руководствовала властная пожилая тётка. Она сразу же у своих «телят» собрала хлебные карточки, выдавала хлеб по норме, и ребята, хоть и вечно голодные, держались на скудных пайках. В других отрядах, получив карточки на руки, пацаны то пропили их, то потеряли, а то и кому вор в карман залез. Через некоторое время такие доходяги — из стороны в сторону ветром мотает, поглядывая на встречных жадными умоляющими глазами, едва брели на работу.

Однажды услышал Васька от своей бригадирши, когда где-то в развалинах опять громыхнула затаившаяся мина: «Отмаялся какой-то бедолага... Может, так-то и лучше, чем от голоду. Прости, Господи, меня, грешную!»

Ваську и хлебная пайка не уберегла: с «белыми мухами» он, вроде тех доходяг, еле потащил ноги, а вскоре и вовсе слёг. Бригадирша добилась, чтобы его осмотрел доктор. Добродушный старикан стукнул парнишку деревянным молоточком по пятке, и гаснущим от дикой боли сознанием Васька успел уловить жестокие слова: «Костный туберкулёз. Если выживет голубчик, то на всю жизнь инвалидом останется...»

Васька, и верно, через год, после госпиталей, возвращался домой на костылях.

На дорожной развилке, с горем пополам выбравшись из кузова попутки и глядя на череду припорошенных первым снежком остроконных крыш домов родной деревеньки, вспомнил он не мать и отца, сестру или братьев, а соседскую девчонку...

Позапрошлой ещё весной Васька вознаме-

рился раскисшей уже тропинкой перебежать по льду на другой берег реки и не заметил, как ухнул в промоину. Неподалеку соседская девчонка помогала матери полоскать в проруби бельё. Она не растерялась, не заголосила испуганно, как мать, а ползком подобралась к барахтавшемуся беспомощно в воде Ваське и протянула ему длинную суковатую «полоскалку». А там и подмога из деревни подоспела...

К тому давнему купанию злые сталинградские ветры хворобы и добавили.

Васька, миновав соседний дом и больше всего желая не попасться кому-либо на глаза, доковылял до родного дворища.

На слабый стук отозвалась настороженно мать: смеркалось, и бог весть с добром или худом кто мог пожаловать.

— Кто, крещёный?!

— Ночевать пустите? — Васька не узнавал своего сдавленного, совсем чужого голоса.

— Да у нас все лавки заняты.

— Неужто все? Может, кто-то и не дома?

— А и верно... Младшенький вот где-то обретается.

Звякнула задвижка засова на двери; мать прижалась к сыну:

— Васятка!..

С утра пораньше потянулись соседи на вновь прибывшего посмотреть, узнали как-то про него: то ли сноха Евдоха на колодце шепнула, то ли видел кто, как он в сумерках на костылях к дому ковылял.

Старший брат Иван, натянув гимнастёрку с поблескивающей одиноко медалькой, похаживал по горнице, горделиво разглаживал усы и снисходительно-свысока поглядывал на младшего, спрятавшего от чужих глаз свои костыли и жмущегося пугливо в дальнем уголке за столом. Средний брат Алексей погиб на границе в самом начале войны, а вот Ваню судьба милывала: вместо окопов попал он как охотник-промысловик в особый отряд — диверсантов в тайге вылавливать. Попадались они ему или нет — о том он умалчивал, но пострелять белок и куниц, лосей и медведей довелось немало. И с таёжницей-комачкой в лесной избушке Ванька такую жаркую любовь закрутил (много позже сознался в том по пьянке брату), что потом, после Победы возвратясь, с Евдохой, женой за-

конной, ложе разделять стало ему в тягость. Евдоха, пытаясь убажить долгожданного мужа, ластилась назойливо к нему, крутилась так и сяк, благо свекровушка была туговата на ухо и за занавеской, разделяющей избу на две половины, вряд ли что слышала.

Деверь Васька отсутствием слуха не страдал, на печной лежанке беспокойно-страдальчески ворочался с боку на бок, и от этого, бывало, в самый неподходящий момент летели с печи чьи-нибудь тяжеленные катанки и грохались на пол.

Евдоха робила в колхозе трактористкой, и Васька ещё до сталинградских степей и своей болезни крутился возле снохи за прицепщика. Задрипанный тракторишко часто глох, Евдоха заползала под него и что-то там подкручивала гаечным ключом, широко раскинув голые ноги. Васька, бегая вокруг, поневоле подглядывал за нею и стыдливо отводил глаза, засунув кулаки в карманы штанов.

А теперь парень подрос, хоть и инвалид, да не по тому самому делу...

Иван недолго крутил вокруг да около:

— Уезжать на учебу тебе, Васька, надо. Чтoб потом на чистую работу. А то ни лесорубом, ни трактористом...

Васька и так смекнул, что домашним помехой стал, но ещё горше было другое...

Клуб был в соседней деревне; субботним вечером Васька из окна завистливым взглядом провожал бредущую по улице шумную ватагу парней и девчонок. Его не забывали: заскакивали в дом ребята помладше.

— Куда я? По сугробам-то...

— Так мы тебя на чунках вмиг домчим!

В клубе, после того как прокручивали кино, длинные лавки сдвигали к дальней стене, громоздили их друг на дружку. Народ повзрослей, посолидней расходился по домам, а молодежка под звуки трофейного аккордеона заводила, как умела, кадрили. Из-за горы лавок Васька опять с завистью взирает на танцующих, вспоминая о закопанных в снег у крыльца костылях и беспокоясь о том, как бы не убежали, позавыв о нём, пацаны с чунками.

Соседская девчонка, та, что вызволила Ваську прошлой весной из речной промоины, подходила к нему, молча стояла рядом, поглядывая

из-под ресниц, как казалось Ваське, брезгливо и с жалостью.

— Ты вот что... Зачем я тебе такой? Не подходи больше! — однажды не выдержал он.

Девчонка, вспыхнув, убежала, а потом пацаны, мчавшие на чунках Ваську домой, на улице обогнали её, идущую под руку с рослым красивым парнем...

3. «Рэмбо»

Кто не слышал в Городке о Владимире Владимировиче Мороковском! Это такая знаменитость!

До сих пор рассказывали-живописали — стражей порядка Мороковский разделявал, как какой-нибудь заправский Рэмбо. Служебный уазик водил он, трезвый или в подпитии, самолично, и, взглянув на номера, вряд ли бы местный самый въедливый гаишник задумал прицепиться — только приключений себе на задницу искать.

Те залетные менты нашли...

Владимир Владимирович ехал на собственной «волжанке», что до того стояла без дела новехонькая в гараже. Куда направлялся — никто не ведал, злые языки утверждали, что и по бабам. Ещё — то ли перебравши был, то ли детство в одном месте заиграло — погнал несусветно! Но дорогу ему вдруг перегородил милицкий жигулёнок, и страж порядка без всякого почтения прорывал:

— Вылезай, приехали! Ваши права!

— Счас покажу! На, носи за бархат!

Здоровяк-сержант полетел ныром в придорожный кювет, следом догнал его и напарник, тоже детина немаленький. В ходе потасовки всё же который-то из ментов добрался до рации в машине, истошно воззвал о помощи, и крутить разбушевавшегося нарушителя помчались со всех сторон наряды...

Происшедшее с Мороковским в народе толковали и так и сяк, добавляли ещё от себя небылицы и в предвкушении — кто со сладострастным вождением, а кто и испуганно-изумленно — ждали, что же будет-то.

Владимиру Владимировичу после проработок «наверху» вlepили наказание вроде почетной «принудки». Отправили, конечно, не общест-

венные нужники чистить или на стройке кирпичи подавать, а вспомнили, что до советской «номенклатурной» работы окончил он сельхозинститут. Вот пусть и потрудится главным агрономом в самом дальнем и отстающем совхозе. Так и «меры приняты», и с глаз долой его, шалуна, и как бы сразу на путь исправления! Даже партийный билет не отобрали...

Начинающий литраб районной газеты Саня Колыхалов, собираясь в командировку на посевную в тот самый совхоз, был наслышан обо всем этом и от наставлений редактора хотел бы отмахнуться, но пришлось выслушать их, изобразив на лице самую озабоченную мину.

— Ты там всякие домыслы и сплетни о Владимире Владимировиче в голову не бери! — напутствовал Саню главред по прозвищу Ортодокс — то ли от углубленного изучения основ марксизма-ленинизма, то ли от избытка желчи высохший до перламутровой желтизны человек. — Не забывай, что о коммунисте всё-таки будешь писать! Этакий ведь богатырище...

Редактор многозначительно вознёс перед Саниным носом обкуранный до черноты палец.

Для Сани всё районное начальство было на одно лицо. В какой-нибудь праздник во время демонстрации возвышалось оно на трибуне в одинаковых тёмно-синих костюмах, при строгих галстуках, с надменно-самодовольными ухмылками на физиономиях. Мороковский тоже обретался там среди прочих и был неотличим от персон, должных к себе внушать простому люду робость и почтение.

И Саня растерялся даже, когда по ступенькам покосившегося крылечка совхозной конторы не спеша сошёл сорокалетний мужик, облаченный в безнадежно расползающуюся по швам затрапезную болоньевую куртку, обутый в солдатские кирзачи; на голове его каким-то чудом лепилась фасонисто кепчонка пирожком.

Санины попутчики — двое спецов из районного сельхозуправления и картавый доктор, главврач поликлиники и хозяин уазика, на котором ехали, — по мере приближения к совхозной конторе всё яростней перемывали косточки Мороковскому: вроде в годах мужики, а хуже старух сплетниц. Но тут дружно умолкли, заторопились наперебой выбраться из машины и под его насмешливо-хмурым

взглядом будто споткнулись о невидимое препятствие.

Картавый доктор подскочил к Мороковскому, затренькал деланно бодреньким смешком:

— Владимир Владимирович, неплохая погода на дворе, не правда ли?

— Так и шепчет: займи да выпей! Заходите в гости!

После опрокинутого натошак стакана самогонки с дальней дороги и схрумканного второпях соленого огурца у приезжих замаслились глаза; теперь все наперебой принялись восхвалять гостеприимного хозяина, в вечной дружбе клясться, только что лобызаться ещё не полезли.

— А это кто с вами? — Мороковский кивнул на подзахмелевшего Саню.

— Из газеты писатель!

— О-о!..

Это уж много позже докумекал Саня, почему так усиленно пёкся о его невзрачной персоне Владимир Владимирович — да так, что скоро стал казаться юному литрабу своим рубашкой-парнем — не грозным начальником, а чуть ли не ровней.

Спровадив довольных и разгоряченно-болтливых специалистов, Мороковский весь остаток дня возил корреспондента по совхозным полям. Начальственным неторопливым жестом выманивал из кабины трактора механизатора, о чём-то долго и малопонятно для Сани, убедительно ему втолковывал. Измотанные посевной мужички смиренно потупляли глаза, мямлили под измазанный соляркой нос: «Вам виднее, Владимир Владимирович... Исправимся».

Мороковский, отступившись от работяг, и Сане стал активно втирать что-то насчёт сельхозработ, что тот, поначалу пытавшийся с понимающе-сосредоточенным видом черкать ручкой в блокноте, умаявшись, забросил это бесполезное занятие и обрадованно вздохнул, когда Владимир Владимирович предложил вернуться с полей в своё обиталище в селе.

— Перекусим маленько!

Расплескав остаток самогона по стаканам, он чокнулся с Саней опять как на равных:

— Ну как, товарищ писатель, уважает меня народ? Уважает...

Согласившись с Саниным утвердительным кивком и едва занюхав выпитое сухой хлебной

горбушкой, Мороковский заёрзал на затрепавшей погибельно табуретке:

— Ты ещё главного в моей жизни не видел! Поехали!..

Разбитый деревенский большак уперся в заасфальтированную трассу, ведущую к райцентру, и Владимир Владимирович выжал тут из мотора узишка крайние силёнки.

Саня, стараясь не показывать испуг, вспомнил о гаишниках.

— А-а! — понимающе усмехнулся Мороковский. — Когда я кого боялся!..

Домчав до райцентра, он остановился на окраинной улице напротив большого покосившегося пятистенка, высветив фарами подслеповатые, плотно задернутые занавесками окна.

— Отцово гнездо! Наша теперь дача... Да!

— Откуда вы, полуночники?..

— Ладно, не ворчи, женушка! — Владимир Владимирович чмокнул в щеку открывшую дверь женщину. — Сгондоби нам чего закусить. Я ведь всего на часок, до свету обратно надо.

Хозяйка захлопотала на кухне; Саня, присев на краешек стула, разглядывал её, втихомолку удивляясь. Неприметная, с простым, до поры увядшим лицом, с усталым взглядом больших печальных глаз — близко не поставишь с расфуфыренными супружницами местных партийных бонз.

Они были пристроены на инструкторских должностях в горкоме партии; к ним однажды прикомандировал Ортодокс Саню для живописания «рейда» по детским площадкам в городе. Двух «боярынь» в служебной «Волге» мало интересовали сломанные качели и заваленные собачьим дерьмом песочницы, дамы взахлёб обсуждали наряды жён и дочек доморощенных «партайгеноссе», особо не стесняясь представителя прессы. Что он им — корреспондентика-пацан, плебей и только.

Водитель «Волги» возьми и брякни:

— В универмаг, слышал, золото завезли.

— Чего ж ты, олух, молчал?! Давай гони! — В узкий проём двери служебного входа дородные тетки пролезали, отталкивая друг дружку...

Вскоре на столе в сковородке пузырилась яичница, в тарелках аппетитно исходил парком разогретый вчерашний борщ — хозяина будто каждый вечер домой ожидали.

Владимир Владимирович выразительно постучал ногтем по пустому стакану.

— Ты хоть знаешь, кто это? — со значением кивнул он в сторону Сани. — Писатель!

— Полно тебе! — доставая бутылку с остатком водки, вздохнула женщина. — Лишку опять бы не было!..

Пока пили, закусывали, она, присев на табуретку в углу кухни, опять с печалью в глазах неотрывно смотрела на мужа.

— Крепость моя! — залудив стакан и плотно закусив, расчувствовался Мороковский и смачно чмокнул жену в щеку.

— Пошли, покажу! — он вцепился Сане в рукав и потащил к плотно прикрытой двери в горницу. Приоткрыл её, включил ночничок, и Саня различил в полутьме комнаты разметавшихся во сне на кроватях троих парней.

— Богатство моё!

На обратном пути у Сани всю чесались руки: машинку бы пишущую сейчас — и гони строки! Вон какой герой рядом за рулем восседает! Но пыл мало-помалу угас; езда по ровной дороге Колыхалова убаюкала, он сладко задремал, хотя колдобины просёлка опять привели его в чувство.

— Отдохни у зоотехника, он у нас на больничном, — Мороковский остановился возле невзрачного щитового домика и посигналил. — Я сегодня буду занят.

На звук тотчас выскочил тщедушный белоголовый мужичонка в наспех накинутой на плечи телогрейке.

— Забери писателя, пускай у тебя чуток погостит!

Мужичок, внимая наказам, согласно с подбострастием закивал головой: есть спать уложить, есть угостить!

Саня, препровожденный в комнатенку за занавеской, едва присел на кровать, тут же и ткнулся лицом в подушку.

Проснулся он после полудня: солнце всю плескало в окно лучи. На столе в горнице выставлялся пухлый старинный самовар. Около него сидели зоотехник с замотанной шарфом шеей и, видно, тракторист в пропитанной мазутом спецовке.

— Товарищ писатель, с добрым утречком! Вернее, уж с деньком! — заулыбался сморщен-

ным личиком хозяин. — Мы вот тут со своим чаем гоняем. Присоединяйтесь!

«Опоздал я, остыл чай! — с сожалением подумал Саня, берясь за холодную чашку, но, глотнув из неё, принялся. Да это брага деревенская, или по-местному — «гобешное»!

Мужики, потягивая из своих чашек, с хитрецою поглядывали на корреспондента. Едва опорожнил он чашку, нацедили из краника самовара ему другую.

— Ты молодец, Генаха! Ловко удумал! — похвалил зоотехника свояк: он был заметно навеселе. — Кто сюда зайдёт — век не додует!

— Эх, голова с заплаткою, до чего людей довел! — вздохнул в ответ зоотехник, заливаясь от похвалы чахлым румянцем. — Был я на днях на свадьбе у родни в городе, так в ресторане стограмм на рыло только и наливали. А подкрашенную самогонку под столами гости из рук в руки передавали. В чайниках!

— Лучше не говори! — откликнулся сочувственно свояк.

Сане после бражки повеселело, захотелось ему пошутить:

— У меня тут, мужики, магнитофончик! — он щелкнул по пачке сигарет в нагрудном кармане. — Хотя и Перестройка сейчас, и гласность, а...

«Самоварщики» разом замолкли, даже чашки с питьём от себя подальше отодвинули, лениво запозевывали.

Сане даже неловко стало от внезапной тишины, он решил, что мужики сейчас встанут и уйдут, и сам не рад был своей шутке, но Генаха-зоотехник наконец осторожно прокашлялся и завел нудным монотонным голосом заезженную пластинку о погоде, о грибах-ягодках. Своак-тракторист кивал ему, поддакивал и не отводил сожалеющего взгляда от недопитой чашки.

Сане это скоро прискучило, и, чтобы прервать пустую трепотню, ничего больше не пришло ему в зашумевшую от бражки голову, как взять да и расхвалить своего вчера обретенного героя. Мороковский-то не чета некоторым, вот уж ничего не боится и с ним таким не пропадете!

Генаха вздыхать о дождичках перестал разом; с усохшего личика его глянули пытливо живые, с лукавинкой, глазки:

— Ты бы это, товарищ писатель... — он, выдвигая, не отрываясь, свою чашку, крикнул. — Ты выключи магнитофончик-то, дай сказать!

Помякав выброшенную демонстративно Саней на стол пустую пачку из-под сигарет, Генаха был удовлетворён и продолжил:

— Э, Мороковский твой — это не нашего поля ягода! Мы здесь родились, тут и помрём, а он взлетит ещё ой-ой-ой! — зоотехник воздел вверх палец. — Вы сами, писаки, ему поможете, а уж он пылицы-то горстями в глаза насыплет, горазд!.. Спалил вот по весне брошенную деревню. Траву сухую на поле поджёт и пожар на прodelки ветра потом свалил... И хоть бы хны!

— Чего ты, Генаха, хочешь, — вздохнул свояк. — Ему наш старик директор в рот смотрил, только бы до пенсии усидеть. Думаешь, писатель, чем твой Морок так занят, что тебя к нам сплавил?

— Пашет и сеет, руководит, — растерянно пожал плечами Саня.

— Во-во! На бабе чужой проценты нагоняет! — хохотнул, сально ухмыляясь, Генахин свояк.

И Генаха с застенчивой улыбкой согласно кивнул:

— Проверять не надо!

У Сани от смущения пунцово запылали уши, поскольку, как ни крути, он был ещё девственником. Парень попросился на улицу продышаться.

«Наговаривают! Потому что завидуют! И...боятся! А я вот сейчас проведу Влад Владыча и докажу им!»

Хмельная брага всю торкала Сане в голову, подталкивала на подвиги, хотя бы во имя справедливости. И он, пошатываясь, пошёл по улочке.

Сгустились сумерки, и — невелико село — но Саня заплутался. Пробираясь в заулках, обходя какие-то изгороди, он представлял себе то печальные и добрые глаза жены Мороковского, то разметающихся во сне его сыновей.

Наконец Саня уткнулся прямо в крылечко знакомого домика-гостинички, где обретался Мороковский. Заметив ещё рядом и потрепаный «козлик», парень обрадованно протопал по ступенькам крыльца, на ощупь, выставив перед собой руки, миновал тёмный коридор, стремясь к полоске света, выбивающейся из-под неплотно прикрытой двери в комнату.

— Несёт нелегкая кого-то! Ой, да я запереться забыл! — слышался тревожный голос Мороковского.

— Но какой ты голодный был, Вова! Прямо с порога — и в койку! — ответил ему насмешливо-игриво женский голос.

Саня толкнул дверь, и при свете ночника навстречу ему качнулся мускулистой глыбой в наспех надернутых трусах Владимир Владимирович. Позади него на смятой постели возлежала рыжеволосая дама. Выпростав большие упругие груди, она с усмешечкой блестящими зелёными глазами поглядывала на Саню; шевельнула, будто невзначай, рукой, и легкое одеяло, обнажив вихор её тёмно-бурых волос, соскользнуло на пол.

Мороковский, пытаясь загородить собой бесстыдницу, угрюмо надвигался на Саню. Тот, пятясь назад, закричал запальчиво, в испуге, сорванным, как у молодого петушка, голоском:

— Я о вас писать собрался!.. Как вы можете? У вас же жена, которая вас любит, сыновья! И вы же... коммунист!

— Пошёл вон, щенок!

О моральном облике Сане поразглагольствовать не удалось: после хорошей оплеухи он лётом пролетел коридорчик и мягко шмякнулся в грязь возле крыльца. Ещё на секунду-другую догнал его заполошный женский хохот, и всё стихло с железным лязгом засова на входных дверях.

Саня поднялся и опять побрел, понурый, в потёмках по селу, размазывая по лицу и грязь, и слёзы.

Эх, сколько минуло после того позднего вечера лет! Нет теперь болтающей велеречиво «головой с заплаткою» на экране телевизора, и век другой, и страна другая...

4. Наследник

Этого дня Саня ждал с трепетом. Старичок архиерей предварительным собеседованием со «ставленником» — так отныне в церкви называли Колыхалова — остался, похоже, доволен, благословил его на генеральную исповедь перед духовником епархии. Предстояло припомнить все грехи и грешочки прожитой сорокалетней жизни, но Сане пока было не до этого. Он, выйдя из епархи-

ального управления, полетел, ровно пацанёнок, по улице, не чуя под собою ног. Скоро, в ближайший великий праздник, за литургией в храме в родном Городке будет он стоять в белом стихаре на солее перед царскими вратами, и владыка, возложив ему на плечо украшенную крестами ленту — диаконский орарь, возгласит по-гречески: «Аксиос!» И троекратно громогласно откликнется хор: «Достоин, достоин, достоин!»

Саня даже дневник надумал завести, чтобы все происходящие события записывать, будто от новой точки отсчета своей жизни идти. Давно ли, держась за локоть Алёшки-художника, занимался в сторожа при храме, потом подавал батюшке кадило в алтаре, ходил на занятия в духовное училище. И со словами молитв, в соучастии в церковных таинствах он однажды ощутил себя верующим человеком. Не случилось какого-то ожидаемого чуда или знамения, вера пришла к нему тихо и сокровенно. «Спасись сам, и около тебя спасутся тысячи!» — лучше саровского старца никто ещё не сказал.

Возле дома Саня поумерил свой бег, и так мчался по тротуару, едва не сшибая встречных прохожих — нехилый дядечка с народившимся пузцом и с лохматой, в первых лучиках седины, бородой.

Жена ошарашила прямо с порога, вернув на грешную землю:

— К директору школы нас вызывают!..

...Мальчонка был болезненный, хиленький, под бледной нежной кожицей каждую жилку видать. Глазёнки голубенькие, наивные, головка на тоненькой шейке лобастая, тяжёлая. Саня, взглянув на своего сынка Дениску, румяного и упитанного, что-то вроде превосходства почувствовал, но одёрнул тут же себя. Что стоит родному «бугаёнку» дохлака такого где-нибудь в углу прижать.

А мальчонка, единственный отпрыск семейства Мороковских, тараша невинные глазки, и на «очной ставке» в кабинете директора продолжал твердить своё: мол, взял у мамки из ухоронки доллары и передал Дениске и даже пальчиком для пушей убедительности на него указал.

Дениска в ответ только глаза кулаками тёр, всхлипывая: отпираться больше, видно, слов не находилось.

— Как же мальчик-то ваш, добрый, спокойный, увалень таки прямо, и у товарища своего стал бесстыдно деньги вымогать?! — хлопала, как клуша крыльями, большими пухлыми руками себя по бокам пожилая директриса. — Дожили! Как это и называется?!

— Рэкет! — буркнул под нос Саня...

— Папа, он все врёт! Не верь ему! — всю дорогу до дома теребил отца за ладонь Дениска, но Саня не слышал его, прикидывая лихорадочно, у кого бы подзанять такую кучу денег.

5. «Не пропадём!»

В Городке, куда после войны приехал Васька Колыхалов, курс бухгалтеров в местном профтехучилище состоял из одних фронтовиков-калек. Куда было сунуться на учебу человеку без руки или ноги, глаза или чего-либо ещё иного? Кто начинал спиваться — тому прямой путь в сапожники, а кто не привык, чуть что — и лапки кверху, тот не делал этого и теперь, работу желал занять чистую и непременно уважаемую.

Ваську подсадили в комнатуху в одно окошечко к бывшему лётчику Степану Алексееву.

— Ты чего, парень, по жизни молчун или язык проглотил? Боишься меня, что ли? Так я с виду только страшный! — добродушно бурчал сидящий за столом здоровяк с обожжённым лицом и без правой руки. — Давай подсаживайся! Небось, брюхо к хребтине присохло!

За косушкой Васька, непривычный к питию, размяк и, всхлипывая, размазывая по щекам слёзы, стал рассказывать, как добирался сюда. Люди добрые помогли ему залезть в теплушку, битком набитую разношёрстным народом; Васька, пристроив костыли, притих возле мордастого детины-солдата, сидящего в обнимку с молодой, задремал и, наверное, проехал бы так не одну станцию, кабы не очнулся вдруг от крепкого тычка в плечо.

— Колись, урод! Ты деньги у меня спёр?! — выкатив бешено на Ваську глаза и лапая у себя за пазухой, орал на всю теплушку солдат.

Парень испуганно отпрянул, тут же получил сапожищем в пах и согнулся крючком от дикой боли, теряя сознание. А где вверху над ним разорялся и бушевал служивый...

У Степана на лице от недавнего добродушия

не осталось и следа: страшные ожоги ещё больше побагровели.

— Тыловая крыса, его мать!..

Но, скрипнув зубами, Алексеев сдержал себя и окинул жалостливым взглядом лёгкую фигурку Васьки, закачавшуюся на костылях:

— Ты, братишка, не думай о всех нас худо... Держись меня, не пропадём!..

Много — не один десяток — лет проработали потом они вместе в городской «коммуналке», один — начальником, другой — главбухом. И памятник Солдату тоже устанавливали вместе...

Бронзовая статуя, в разобранном виде привезённая из далёкой Грузии, так и оставалась лежать составными частями вперемешку в дальнем углу склада. Кладовщица изворчалась вся: дескать, когда солдатака «сердешного» на место с почётом водрузите, пусть и на грузина он обличьем смахивает, но да ладно, тогда, на войне, все равны были.

Все время что-то мешало свершиться этому благу делу, все наличные немногие силёшки горкомхоза всегда уходили на другое. То протекали крыши коммунальных развалюх, то деревянные мостки по всему городишке вздувались горбом и норовили поймать в капкан между досок ногу торопыги — прохожего, то перемерзший за зиму водопровод по весне бил фонтанами. Какой уж там постамент для памятника! До него ли? Даже куда его поставить, не могли определиться!

Неведомо сколько бы ещё всё тянулось, кабы Алексеев не слёг с инфарктом. Едва поднявшись с больничной койки, он сказал решительно главбуху:

— Василич, устанавливаем памятник! Всё в сторону!

— Юбилей Победы скоро, — закивал Колыхалов.

— Не только в этом дело, — вздохнул Степан и приложил руку к груди. — Могу не успеть!

— Средств-то у нас... В смету не заложено, — развел Колыхалов руками.

— А мы профилакторий ремонтировать собирались...

Профилакторий — так, для вывески сказано. Это был скорее «охотничий домик», куда время от времени наведывался сам зампредрика Владимир Владимирович Мороковский с прочей

районной номенклатурной шоблой-воблой. Принимал он гостей и повыше, искал покровителей; в ту пору ментов ещё не гонял, а сельским хозяйством и вовсе заниматься не думал.

В доме собирались подправить печки, полы и крылечко подновить.

— На установку-то памятника хватило бы... — прикинул главбух. — Только потом по шеям бы нам не наклали!

— Не бзди, Вася, прорвёмся! — глаза Алексева молодо блеснули, и на мгновение Колыхалову показалось, что перед ним не изнурённый болезнью и старыми ранами ветеран, а юный бесстрашный Степан-лётчик...

Только навернулся наверно с того злополучного крыльца товарищ Мороковский, может, сам или кто из его холуев, а пуще — из высшего начальства! Да и фигуру солдата, притулившуюся с краю старого парка и обернутую до поры до времени куском брезента, не утаишь, отовсюду видно. Иначе зачем бы потащили Алексева с Колыхаловым под начальственные очи.

— Рассказывайте, делитесь, старые жучки, как подворовывали! — с притворной улыбкой спросил их Мороковский и забухал, точно колотушкой в било: — Нецелевое использование средств! Вам что было приказано делать? Под суд захотели? Так пойдете!

На инвалидов разорвался он, начавший полнеть детина, долго. Когда наконец вышли из его кабинета, Алексеев вытер пот со лба:

— Как пацанов нас... Как воров! Крепко он перед кем-то выслужиться хотел, да мы с тобой не подсуетились!

— Лучше бы уж мостков по улицам побольше настелили... — вздохнул Колыхалов. — По ним хоть людям ходить.

— А памятник наш для бар, что ли?..

«Бронзового солдата» в День Победы открывали торжественно. Алую ленточку перерезали орденосеи-ветераны и, естественно, Мороковский. На митинге Владимир Владимирович разливался соловьем, а когда выступавшие после него начинали в его адрес нести всякую лестную чушь: мол, без вашего чуткого руководства ничего бы тут не стояло, Мороковский скромно потуплял глаза долу и вроде бы как застенчиво расплывался в улыбке.

Упало полотно, открывая людским взорам

памятник — солдат, опираясь на автомат и сняв каску, смотрит вдаль, может быть, пройдя последний огневой рубеж по долгой дороге к родному дому.

Алексеев смахнул с глаз слёзы и кивнул Колыхалову:

— Всё ладно, брат Василич!..

Накануне их судили и оштрафовали, взыскали по окладу: легко ещё отделались. Алексеев вскоре опять попал в больницу и оттуда уже не вернулся.

6. Благодетель

Мороковский за минувшие годы очень изменился внешне. Если бы повстречал его Саня где-нибудь на улице мимоходом, мельком, то вряд ли бы узнал.

В воскресный день за службой в храме народу много, к каждому прихожанину пономарю присматриваться некогда — хлопот полно, но всё-таки Саня обратил внимание на то, что, как только закончилась служба, одного из прихожан, скромно стоящего в боковом приделе, тут же обступили и отец-настоятель, и староста со старушкой-казначеей. Саня присмотрелся толком и обомлел...

Владимир Владимирович из прежнего дородного дюжего дядьки усох до костистого сутуловатого, но ещё крепкого старика. Голова по-цыплячьи обмётана редким седым пухом, лицо избороздили глубокие морщины, но пристальный взгляд оставался по-прежнему пронизательным — заглядывает человек тебе в душу, а сам себе на уме.

Одет был Мороковский скромно, в неприличный тёмный костюм. Обмахнувшись торопливо крестиком, вышел из храма и всё так же в сопровождении семенящих за ним старосты и батюшки, неспешным шагом отправился к припаркованной за церковной оградой старомодной черной «Волге».

«Нет, не обознался я!» — убеждался Саня, расспрашивая потом словоохотливого батюшку о прихожанине.

— Благодетель наш! И не простой! У губернатора аж в советниках состоит, — поведал тот. — Храму помогает не из моды, а, похоже, от чистого сердца...

При коммунистах он, говорили, в своё время пострадал — будто бы за убеждения. И они-то, когда заварушка вся началась, привели его прямоком в демократический лагерь, а заодно и в областную столицу. Теперь сыновья Мороковского вертелись в немаленьком бизнесе, сам глава семейства обретался со своими советами возле высшего руководства.

Не мог понять Саня: а его самого узнал или нет Владимир Владимирович? Появлялся он в храме нечасто, на спешащего мимо по своим пономарским делам Саню внимания обращал не больше, чем на других церковных служек, и Саня поуспокоился — не вспомнил и ладно. Неловко бы было...

Теперь же, когда у Сани не выходило из головы, где бы подзанять ещё деньжонок для сына, он как-то раз в притворе нечаянно столкнулся нос к носу с Мороковским. Владимир Владимирович почтительно-вежливо посторонился — как-никак Саня был облачён в чёрный подрясник, но от Колыхалова не ускользнуло: посмотрел на него Мороковский заинтересованно и оценивающе, даже, может быть, с какой-то ехидцей...

7. На задворках

Бронзовые доски со столбиками фамилий погибших на войне городковцев со стел возле подножия памятника украли глухой ночью. Воры выворотили варварски все десять досок. Милиция была поставлена на уши: денно и ночью вёлся поиск подонков, местная власть била себя в грудь: мол, всё под контролем, никто не уйдёт от возмездия! Но сразу шпану, разумеется, не взяли, и шум постепенно стал утихать. Немногие ветераны, форсировав по шатким мосточкам канаву для теплотрассы, ведущую к «барской» новостройке Мороковских, и взирая на пустые четвероугольники на стелах, вполголоса ругались, смахивали с глаз злые слёзы.

Василий Васильевич Колыхалов как-то тоже пробрался к памятнику, остановился у подножия и, запрокинув голову, даже испугался — показалось, что бронзовый солдат вот-вот упадёт сверху. Колыхалов поспешно отковылял в сторону, присмотрелся получше и заметил:

верно, верхняя половина скульптуры еле-еле держалась.

«Как и не уволокли-то вместе с досками?! — поразился Василий Васильевич. — Чуть толкни — и...»

Он ещё пуще забеспокоился, когда вычитал в газете, что в областном центре прямо с могилы украли бюст героя-летчика. Тот погиб в небе над Западной Украиной, но полвека спустя недобрым самостийщикам и их потомству героический прах перестал давать спокойно спать, начались тут на память лётчика всякие недобрые поползновения. К счастью, земляки не растерялись: привезли и с должными почестями перезахоронили Героя в родной земле. И буквально через пару дней тоже ведь, наверное, земляки упёрли бюст. Цветной металл всё-таки...

После прочитанного сердечко у Василия Васильевича нехорошо ёкнуло. Поотдышавшись, он заторопился к заветному парку, и не зря — предчувствовал беду: памятника на месте не было! Неподалеку от осиротевшего постамента заливали асфальтом дорожку, ведущую к изящному, с колоннами особняку в глубине сада. Работягами придиричиво руководил молодой дородный мужчина, по замашкам, сразу видать, хозяин.

Василий Васильевич беспомощно потыкал куда-то в небо пальцем, из горла его вырвались невнятные мычащие звуки, и мужчина-распорядитель, заметив неладное со старичком, подошёл к нему, гася на своей холёной физиономии сожалеюще-презрительную ухмылку:

— Устал уж вам всем объяснять — на реставрацию «братишку» вашего отправили! Починят, отполируют — будет блестеть, как котовы яйца!

Василий Васильевич поуспокоился, через некоторое время сам недоумевающим знакомым стал с уверенностью говорить, что памятник-де в капремонте, а это дело долгое. Лучше уж верить в чьи-то слова, чем изводиться домыслами и предположениями...

Полетел первый снежок. Как-то Василий Васильевич брёл, скукожась от ледяного ветра, из магазина домой. Приключилось с ним дело стариковское, не терпящее отлагательства, короче, свернул он за угол. Смеркалось, но прохожего люду навстречу попадалось немало, и все знакомые, это тебе не в чужом городе, — к стволу лю-

бого дерева не прижмешься. Место, где приспичило старика, — здание администрации, тут же на первом этаже отделение милиции. Да что поделаешь! Колыхалов на всякий случай пробрался подальше в глубину глухого, огороженного высоким забором двора и... обмер, заметив возле широкого рундука ментовского нужника припорошенного снегом лежащего человека. Вон, и черты лица явственно проступают сквозь снежный саван. Василий Васильевич рукой смахнул с памятника снег, вздохнул горестно, но сколько ни пытался поднять памятник, так и не смог, даже пошевелить его силёнок не хватило.

Колыхалов, обессилев, опустился прямо на землю рядом, закрыл своё лицо озябшими ладонями.

Его легонько потряс за плечо милиционер:

— Дедуля, не своровать ли на цветмет солдата намылился?..

8. Дорожки пересекаются

Ох, Саня, Саня! Не оказалось у тебя ни богатеньких знакомых, ни тороватой родни, ни спонсоров; если кто-то и дал что взаймы, то сущие копейки. Но кручиниться долго всё же не пришлось: Колыхалов-старший, узнав про горе-беду, пожурил сына даже — что молчал-то прежде, дурачина!

— На машину с пенсии откладывал, хотелось «инвалидку» поменять... Ладно, так проковыляюсь!

Саня от радости чуть не бросился отцу на шею, точно бы по-медвежьи заграбастав, смял старичка, но отец охладил его пыл, спросив:

— А ты сам-то веришь, что Дениска мог такое вытворить?

Саня пожал плечами:

— Да не верю я, и сын отпирается вовсю, но барчонок-то Мороковский на своём стоит!

— Не сиживать им никогда за одной партой! — вздохнул Василий Васильевич. — Слушай, я вот чего хотел у тебя узнать... В храм собираюсь сходить, свечки поставить, мать и знакомых помянуть. И за внука помолиться. И причастился бы...

— Исповедаться сначала надо, — удивлённый, проговорил Саня.

Ещё бы, отец в ярых атеистах никогда не хо-

дил, но к церкви относился как-то безразлично. Чего ж тут ждать?! Собор в Городке разорили в годы «великого перелома», и с той поры и до наших дней в его наглухо оштукатуренных стенах функционировал клуб с кинопрокатом и танцзалом. Рассказывали, что иногда на сводах под куполом сквозь побелку проступали святые лики; женщины тогда, в том числе и мать Саньки, втихомолку крестились, шепча: «Ой, не к добру!» А мужики, как и Колыхалов-отец, над страхами своих «половин» подтрунивали, гася неловкость в глубине души.

От Сани, хоть он чуть ли и не прыгал, радостный, не укрылось: отец был расстроен чем-то своим, не только из-за любимого внука, хоть и старался не показывать вида.

— Опять с Мороковским наши дорожки пересекаются...

И, расторможенный Саней, рассказал историю с памятником возле мороковского родового гнездовища.

— Нынче сила вроде как на ихней стороне...

— Да ему прямо в глаза и надо врезать обо всём! — вскипел было Саня. — Вот увижу его!..

— Ты со своей бедой сначала развяжись! А я сам уж... В храм, говоришь, к вам он ходит? Поможет Бог, свидимся, поговорим! Так-то где нашему брату до них достучаться...

9. Пустые хлопоты

Саня, время от времени нащупывая в кармане денежную пачечку, жаждал вручить её в условленное время не стриженной кикиморе-невестке, а самому Мороковскому — да не трясясь и лепеча извинения, потупив стыдливые глазки, а в гордом молчании — из рук в руки. Саня даже стал репетировать грядущее событие, и — точно кто услышал! — в воскресенье, накануне службы, его отозвал в сторону настоятель:

— Тебя Владимир Владимирович срочно желают видеть! Ты с ними... это самое... покурнее и поласковой будь!

В глазах батюшки плескалась плохо скрываемая тревога.

Мороковский ожидал Саню в притворе храма. Улыбаясь, крепко пожал ему руку и — что уж совсем неожиданно! — троекратно с ним

облобызался, легонько тычась гладко выбритым лицом изумлённому Сане в бороду. Жестом пригласил выйти его на церковный двор и, неторопливо ступая, двинулся по тропинке вдоль ограды.

Сане оставалось вышагивать рядом и выжидать подходящего момента, чтобы вытащить из кармана руку со смятыми в комоч деньгами.

— Я вот о чём хотел с вами поговорить... — после недолгого молчания начал Мороковский. — Мне родные рассказали про вымогательство, или рэкет — по-новому. Ваш сын здесь совершенно ни при чём. Мне мой внук во всём признался. Вот так, только одному любимому дедушке! На него надавили старшеклассники, прослышав, что он не из простых, предложили «крышу», а за неё надо платить. Да, времена!..

Саня, представляя себе невинные голубые глазёнки внука Мороковского, был ошеломлен и оттого будто язык проглотил, только кивал согласно, как конь, головой на каждое слово Владимира Владимировича.

— Моя промашка, что мой внук в обычной школе учился. Думалось, что так жизнь лучше с малолетства познает... В общем, приносим вам всем свои извинения. Самые искренние. И ещё... — Мороковский остановился, заложив руки за спину, помолчал и испытующе заглянул в глаза Сане. — Мне хотелось, чтобы о

недоразумении этом никуда ничто не распространилось. Сами понимаете, не глупые: простиж семьи, доброе имя и всё такое прочее. Дуракам и завистникам ведь только повод дай. Согласны?! Вот и ладно!

Владимир Владимирович выразительно прокашлялся:

— А я со своей стороны обещаю... У вас супруга в областной администрации простым экономистом, знаю, работает... Полагаю, вполне доросла до заведующей отделом — помогу. А вы, как помню, писателем хотели стать? Небось, немало в ящиках стола рукописей накопилось? Издаться-то проблема? На толстую солидную книгу денегат спонсирую: стоит, вероятно. И отец ваш не будет забыт. Слышал, он, как инвалид, в очереди на получение автомобиля стоит. Ничего, подвинется очередь...

В это время на паперть храма ступил старичок игумен, духовник, и Мороковский, не прощаясь, заторопился следом за ним. А Саня остался стоять, распяля рот; из ослабевших пальцев руки, вытянутой наконец из кармана, вывалился на землю смятый комочек денег.

□

Николай Александрович ТОЛСТИКОВ

родился в 1958 году в г. Кадникове Вологодской области.

Окончил Литературный институт им. А.М. Горького,

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Священник храма святителя Николая во Владычной слободе Вологды.

Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, сборниках.

Автор книг «Пожинатели плодов», «Без креста»,

«Лазарева суббота», «Приходские повести».

Награжден медалью Василия Шукшина, учрежденной Союзом писателей России, и др.

Член Союза писателей России.

